

р\а\з\н\и\ц\ы

№1



ВОЙНА

р\а\з\н\и\ц\ыі

Электронное периодическое литературно-публицистическое издание, writers-run zine. Без цензуры, без родины.

Мы публикуем прозу, поэзию, публицистику, интервью с авторами.

Политика журнала допускает плюрализм мировоззрений, за исключением идей авторитаризма, деспотизма и идиотизма.

Каждый номер тематический, тексты собираются через open call и личные приглашения, самотек не рассматриваем.

alteritiesmag.com

alterities.mag@gmail.com

t.me/alteritiesmag

Редакция №1 ВОЙНА:

Главный редактор: Игорь Тибман

Выпускающие редакторы: Гелевера Ева, Нина Шилова

Дизайн, верстка: Игорь Тибман

Иллюстрации: DALLE-2, Stability AI

Обложка: Cosimo Rosselli «Attraversamento del Mar Rosso» 1482

Благодарности:

Jańek Brö

Анна Ясельман

Евгения Цанова

Содержание

3	От редакции \ Пролог
5	От редакции \ Отложенный диалог
7	Ольга Ломакина \ Соседи
13	Валерия Сош \ Небасня про войну
17	Ксения Аленчик \ Кольцевая композиция
22	Ирина Батакова \ поэзия
27	Маша Добычина \ Годен
34	Маша Добычина \ интервью
39	Анна Русс \ поэзия
47	Татьяна Замировская \ subject: просто назови это мной / требование об опровержении
53	Аноним_ка \ поэзия
58	Елена Королькова \ 24 августа 2022
65	Лада Сёмина \ Август – Сентябрь
70	Евгения Цанова \ Ничего не изменилось
76	Евгения Цанова \ интервью
81	Ксения Букша \ поэзия
87	Алёна Кирсанова \ Сантехник не уйдет
92	Фёдор Сваровский \ поэзия
96	Ольга Фатеева \ Каждый день день
103	Егана Джаббарова \ Сны
108	Алиса Ганиева \ Удушение
114	максим евстропов \ по-над трупами
119	максим евстропов \ интервью
125	Игорь Тибман \ Доля значения
130	Елена Королькова \ поэзия
137	Митя Кокорин \ Перетерпим
144	Надя Плунгян \ Флаг

Пролог

Совершенно невозможно говорить о ВОЙНЕ, когда она идет, так как слова превращаются в вой. На первых драфтах обложки на портативных устройствах переносилась строка и получалось

ВОЙ
НА

Баг поправили, журнал не воеет.
Разница — здесь для головы.

В шапке фреска Козимо Росселли из Сикстинской капеллы «Переход Красного моря» 1482 г. — это сюжет, который мы наблюдаем фактически. Помимо очевидной аналогии с Давидом и Голиафом, также из Библии, перед нами наглядная картина исхода евреев из Египта. «Вторая армия мира» (Первая, чего уж там), терпит поражение, в попытке не пустить на волю меньшинство. Щелчок по носу невыносим для сверхдержавы. Урок не выучен. Ветхий Завет пожимает плечами, стряхивая пепел.

Мы думали, что ждали 40 лет блуждания хомо-советикус, вот-вот он вымрет и тут-то и станет хорошо. Но пустыня осталась голодна. Фараону лишь снилось, что он Моисей, и он проснулся — выкидьш. Теперь брешет всем свои сны о чем-то большем, но всем немного неловко. Иосиф считает коров, пытаясь уснуть, лишь бы не толковать.

Перед кем Красное море расступается, а над кем смыкается, наверное, понятно — разница. Впрочем, это не политаналитика, а всего лишь вступительное слово редактора.

В то же время дискредитированная доминантная культура, продуктом которой выступает бредящий лунатик, мгновенно лишившаяся легитимности ретроспективно, и небезосновательно, получает ненависть от культур бывших колоний. Но проблема даже не в различиях культур, которые после сотен лет колониальной зависимости все еще находятся в процессе химической реакции с имперским основанием, а в том, что огромное количество культур не думает на своих языках. Это трагедия языка.

И трагедия в том, что нельзя просто вот так взять и начать думать, писать на втором (а на самом деле первом), но так получилось, что не первом...

Украин_ки, беларус_ки, представитель_ницы все еще ассимилированных национальностей, представленные в этом номере, родились и выросли таким образом, что русский язык для них является первым. Поэтому они пишут на нем. Они на нем думают.

Язык не выбирает, чьим инструментом порабощения быть, он — такой же просто язык, как и все прочие языки, даже если его использовали колонизаторы.

Дэни Гловер сидит на толчке, к его жопе привязан детонатор, он не может встать. Мэл Гибсон очень хочет ему помочь, но все очень сложно. Мы чувствуем это. И пикантность момента. «Давай я сейчас перережу зеленый провод? — Нет, только не зеленый провод, пожалуйста. — Мне кажется, зеленый провод самое то. — Боюсь, не соглашусь с тобой, давай, может, синий?» (*Смертельное оружие 2)

И да, на толчке сидит, скажем, русскоязычная культура. А Гибсон, это все мы, которые испытывают букет сложных противоречий, но не могут не говорить по-русски, откуда бы мы ни были. Ну потому что мы на нем думаем, да? (Черт, это наложение нескольких эпизодов! Но неважно. Уверен, смотревшие эту франшизу вспомнили что-то подобное. Но знайте — все было не так!)

Это первый номер, поэтому формат журнала нащупан примерно. Не все, что задумывалось, вышло так, как задумывалось, не все заявленные авторские единицы смогли написать. Такое время.

Прежде всего, мы поняли, что нет смысла в рубрикации жанров — хотя проза и поэзия все же еще формально различимы, разницу между фикшн и нон-фикшн уже найти затруднительно. Так что мы решили полностью отказаться от разделов. Это не те различия, которые мы ищем. Различия в смыслах неравны различиям в табелях.

Победы Украине, и тогда уже скользкое «нет войне» станет «конец войне».

Отложенный диалог

Я бесконечно рада, что мне удалось поработать с текстами, вошедшими в первый номер p\a\з\н\и\ц\ы. Спасибо Игорю, что создал это пространство, и автор_кам, что наполнили его смыслами и чувствами. Вы перенесли на эти страницы настоящую жизнь, и я прожила ее вместе с вами. Поэтому для меня так важна возможность вести этот отложенный диалог.

Всем, кто читает сейчас эти слова, независимо от национальности: спасибо за ваши убеждения и за мужество.

Украин_кам:

Простите нас за все. Я знаю, что это ничего не изменит. Просто эти слова часто подразумеваются (когда мы говорим о чувстве вины, бессилии), но они редко произносятся напрямую. А я думаю, очень важно, чтобы произносились. Простите меня.

Россиян_кам:

Эта война уничтожила одну нацию и возродила другую. Наше горе менее очевидно, и о нем стыдно говорить, но глупо отрицать, что мы тоже в большой беде. Я знаю, что не смогу избавиться от позорного клейма своей национальности, но это не повод жалеть себя. Ведь пока мы себя жалеем — лучше не становится. Пока мы цепляемся за клочки гордости, шарим по пыльному полу в поисках достоинства — становится хуже.

Поэтому хватит. Хватит думать о том, кто мы. Уехали или остались. Достаточно ли сделали... Никому, по большому счету, нет дела.

Мы должны понимать, Россия сегодня — страна – террорист. Неважно, кто я: мама, редакторка, россиянка, эмигрантка, предательница. Важно, чтобы война закончилась как можно скорее победой Украины.

Да, одиночные голоса растворяются, оседая на судебных постановлениях. Но люди умеют объединяться, всегда умели. И сейчас это уже происходит, нужно лишь оглянуться, увидеть своих и держаться вместе. Мы можем стать убежищем, позвоночником, на который позже нарастут другие ткани. Сохранить внутри свет, чтобы те, кто потерялся, могли ориентироваться в темноте.

Вранье, что мы бессильны. Наши сердца выжжены горем, но мы сильны.
Вспомните, какого мужества требовалось пережить первые месяцы, не прячась
в безопасный домик отрицания.

Обезболивающего нет, боль придется перетерпеть. Но у нас все получится.
Только бы хватило милосердия!

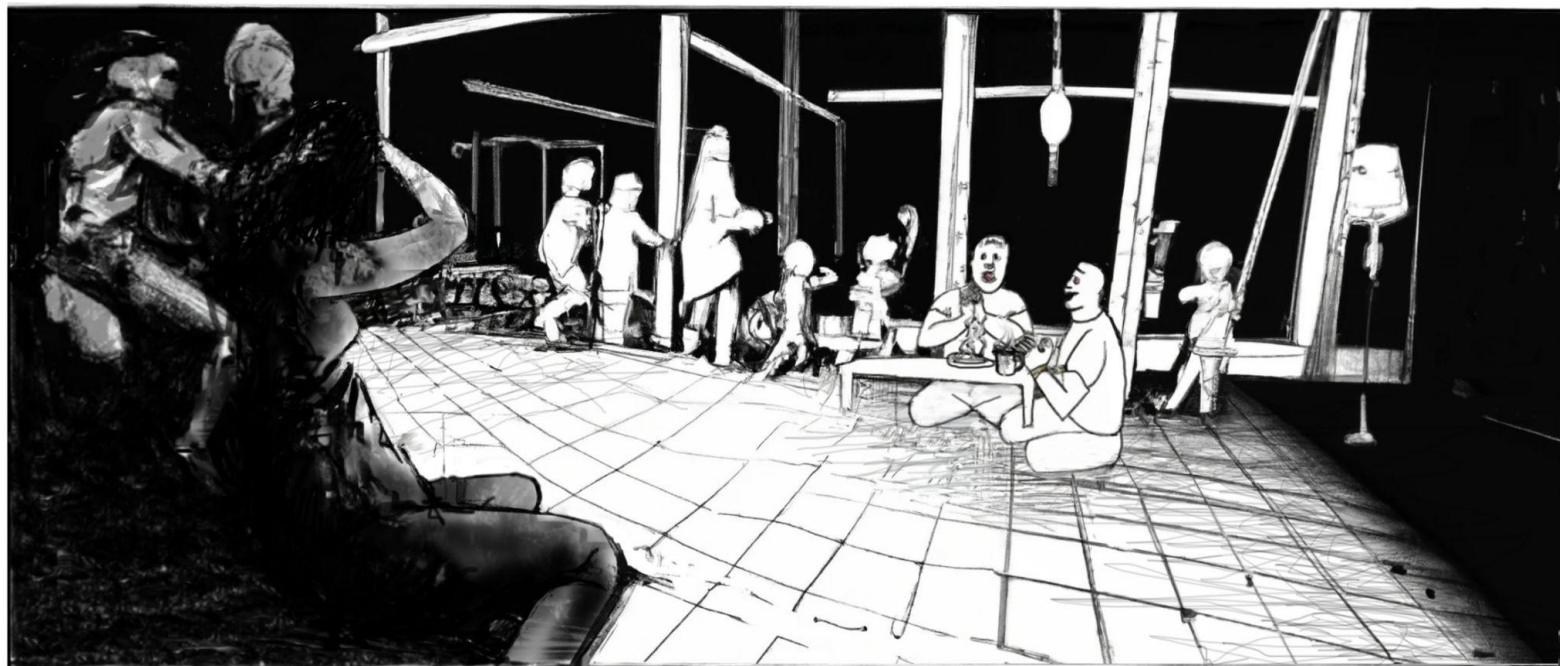
— Гелевера Ева

Ольга Ломакина

Я — Война, страшная, кровавая, с запахом гнили изо рта, со слипшимися на лбу грязными волосами и застрявшим в горле предсмертным криком. Я такая, когда слышу вой сирены или смотрю на безжалостные цифры: в Виннице погибло двадцать семь человек. Тогда я поднимаюсь с изуродованных артритом коленей, рву плоть на груди и дрожу от бессилия. Я Война, уродливый, нежизнеспособный ребёнок сумасшедших родителей. Я проклята. И проклиная всех, кто за меня.

Я — мать. Смотрю на своих четверых дочек и стараюсь не думать, что было бы с ними, со мной, если бы мы жили в том доме на проспекте Лобановского, куда в первый день войны попала ракета. Кормлю детей вредной картошкой фри и радуюсь, что у меня есть деньги на это и конфеты, которые в прежней жизни нужно было заслужить. Сейчас я плохая мать, я разрешаю им все, что запрещала до двадцать четвёртого февраля.

Я — тотальное одиночество. Никто не может понять что происходит со мной, что творится во мне. С кем я говорю и кого умоляю пощадить человечество. Мне не с кем разделить горе и некому плакать. Я обязательно умру, закончусь в одиночестве. Но пока я есть, вы не сможете меня игнорировать!



Соседи

Сторбившись, сижу на груде пледов, матрасов и смятых простыней. Сверху сочится густой запах пыли, плесени, псины и немых тел. Слепо моргает лампочка. Если не думать, забыть что происходит, то похоже на пионерский лагерь в лесу, дурацкий поход и ночёвку в землянках. Как тридцать лет назад — жутко. Немые тени прячутся по тёмным углам. Монотонно считаю. «Один, два. Три угла». Жаль, углов мало, не уснуть. Рядом на полу мирно сопят в спальниках. Завидую спящим.

За тридцать лет я постарела, а страхи — нет. Не настолько люблю жизнь, чтобы за неё цепляться. Боюсь умирать и смотреть на смерть близких. Мало ли что там, а если ничего или только мучения за несчастливо прожитую жизнь? За чертой оживают все кошмары и шепчут голосами ангелов смерти:

- Иди к нам. Умрёшь быстро. Перестанешь всего бояться.
- Если не умру, только сломает позвоночник или оторвёт ноги?
- Умрёшь.
- Я боюсь лежать и слышать крики моих детей. Видеть их смерть.
- Всё случится быстро. Страх исчезнет. Иди сюда.

Закрываю уши, натягиваю на голову одеяло. Я в домике. Я в домике!

Вокруг покато спят мои дети, в зимних курточках и лыжных штанах. В подвале даже летом промозгло, а сейчас начало весны. У бетонной стены, в новенькой туристической палатке храпят. Чьи-то носки грубой вязки торчат

из-под облезлого покрывала. На раскладушке, свернувшись узлом у живота мамы, спит мальчишка. Они прибежали ночью, когда включили сирену, с вытаращенными глазами. Мальчик в трусах и маечке, мама в пижаме. Он сонно хнычет, она тяжело дышит, глаза влажные, щеки бледные, сухие. Кто-то уступает им место на матрасе, кто-то отдает одеяло. Интересно, из какой они квартиры? Я не помню своих соседей.

Мы переехали в дом четыре года назад, но будто вчера. В квартире всё ещё ремонт. Пусть жизнь будет как ремонт — бесконечной. Слышала пару раз как муж ругался с соседом снизу — ваши дети топают! Познакомиться не хотелось, хотелось ругаться: да, дети не ангелы, не летают! Здоровые дети активные и бегают.

С нами под землёй соседа нет. Я бы узнала голос: вязкие, как жвачка, растянутые слова громко лопаются в конце фраз. Есть двое знакомых. Может я хорошая соседка, человек? С Яной и Костей живём дверь в дверь. Но выпили за знакомство в Новый год перед войной.

— Простите, что внезапно. Яна. Мы соседи.

— Знаю, вас трудно не заметить — сутуюсь, пытаюсь спрятать катышки на растянутой коффе.

— Можно дочка у вас побудет, поиграет с вашими, пока мы за продуктами съездим? — большая грудь краснеет в декольте жёлтого комбинезона. Яна подталкивает девочку мне навстречу.

— Без проблем. Где четыре там и пять.

— Я Костя, — из-за жёлтой спины тянется безволосая рука.

— Оля. А собачку я знаю, Дори, фу! Слышу, как вы её воспитываете, — в объятиях Кости извивается и скулит крошечный йорк.

Они приехали из супермаркета, когда дети спали, а мы с мужем допили первую бутылку шампанского. Так и познакомились.

В подземном паркинге нашего дома спят. Даже собака Дори, наши кошки и чьи-то наспех брошенные кролики. Я не могу. Давно не могу засыпать, всегда тревожно. Как жить? А тут война. Вчера насчитала одиннадцать сирен за сутки. Не то что ночью, днём жить плохо удаётся. Не спать страшнее. Тени в углах оживают и неслышно ползают. Утром нахожу их длинный перламутровый след. Если уснуть, слизи проползут по мне. Им всё равно, живой человек или лежащая картошка.

— Ты же улиток не боишься? — муж принёс в термосе чай.

— Угу.

— Зелёный. Схватил последнюю пачку.

— Под землёй только слизи, — сквозь пар, знакомое лицо превращается в чужое. Любимый чай пахнет плесенью.

— Пей чай и отдыхай. Я уложу детей.

Ощущаю себя больной и пьяной. Окружающее принимает вид неуклюжего сна, он вызывает ужас и гадливость, но я больше не удивляюсь. Я проснулась в таком сне. Сажу на скомканном тряпье, дрожу. Всматриваюсь в дальний угол убежища. Показалось, стук черноты шевелится. Зажмуриваюсь.

- Кыш, брысь! — перед глазами пляшут бесформенные пятна.
- Это только начало, — голос черного стука звучит в голове как пенопласт о стекло.
- Нет! Этого не может быть. Война это дикость. Сюр, бред. Как и ты, всего лишь мой бредовый кошмар.
- Вот и посмотрим, кто прав.
- Иди к чёрту! — переворачиваюсь на другой бок, задев мужа локтем и коленом.
- Чего не спишь? — еле слышно шепчет муж.
- А ты чего?
- Ёрзаешь. Мешаешь. Иди сюда, — утягивает под одеяло, прижимает. Пуховики заскрипели.
- Откуда они? — я кивнула на женщину с малышом.
- Из пятнадцатой. Спи.
- Живём в доме четыре года, а я почти никого не знаю.
- Спи уже!
- Наверное, я плохой человек. Скажи... Ты уснул что ли?

Завидую спящим. Монотонно их считаю. Двоих, плотно закутанных в один цветастый плед, группку столбиков на матрасах, одиноких в спальниках, четверых в палатке, Костя с Яной в машине, кто-то на раскладушках, посчитала спящего на стуле незнакомца.

Медленно погружаюсь в тёмный, смрадный пакет сна. Невидимые, но прочные стенки отделяют меня от прежней жизни, изолируют от людей. Я хочу и не могу к людям. Всё вижу через мутный целлофан. Также слышу: далекий шелест голосов. Дрожью реагирую на звуки снаружи. Живот крутит от серии коротких, резких хлопков. Дёргаюсь в ответ на одиночный раскат. Мир за стеной грохочет старой газонокосилкой. Колышется воздух, мигающая лампочка и моя пустая голова.

Новый раскат грома. Прижимаюсь к дрожащему полу. Ползу. Хватаю детей, закрываю им уши. Бежать некуда. Это конец. Мы в убежище. Ниже только земля.

- Успокойся, это на верхнем паркинге закрыли дверь, — муж заливает в бутылку бензин. Рядом на полу дюжина готовых, закупоренных тряпками. На одной узнаю рисунок с розовыми котятами из нашей детской.
- Почему так громко?
- Обычно. Лучше прими таблетку.
- И война закончится?
- И запей.

Утром, я сижу подальше ото всех в оцеплении и таращусь на серые стены. В свете прожектора теней нет, но я знаю, слизи там. Спустились вместе со мной в убежище. Пируют на страхе и ежеминутно жиреют. Я видела их отъевшихся в погребе семейного гаража. Папа заставлял спускаться под пол и перебирать прошлогоднюю картошку. Стоило надавить, и она легко лопалась в руках. Внутри вонючая гниль. Жижа медленно расползлась по пальцам. В ладонях оставалась липкая перламутровая оболочка, мерцающая в луче фонарика. Бетонные стены погреба сплошь облюнованы. Сами чудища прятали хвосты в тенях углов, стоило направить на них луч.

Когда не пялюсь на бетон, часами листаю новости в телеграмме. Много. Часто. Страшные. Тихо, чтобы не пугать детей, сухо плачу в липкий шарф.

— Идите, позавтракайте! — издали шелестит голос.

— Я? — уткнулась носом в кулаки: сухая потрескавшаяся кожа, обкусанные ногти.

— Ну а кто? — смеётся, — идите уже к нам!

У раскладного столика сгрудились люди. Живо болтают. Брызги света разбросаны на подвижных лицах. Некоторые кажутся знакомыми.

Сосед с шестого этажа, у него был в квартире пожар, накладывает в бумажные тарелки кашу и машет мне ложкой. Над комочками пар. В воздухе запах горячего масла. Лицо соседа размыто.

— Я позже, спасибо, — ощутила себя разбитой, уставшей, лишней.

Хочу сорваться с отсыревшего матраса, сбежать, оказаться одной, отдаться теням, исчезнуть, чтобы живые люди не видели меня парализованной страхом, завязанной в вонючем мешке, пахнущей невымытыми волосами, задохнувшимися подмышками и нечищенными зубами. Я не была в душе четыре дня. На мне нелепая пёстрая одежда и меховые тапки — всё, что успела схватить, натянуть, когда бежали в подвал.

— Всем нужно есть и много пить, — сосед из шестой уже на лавке рядом, протягивает мне тарелку, — овсянка с курагой и изюмом.

— Сп-пасибо, — под тарелку прячу грязные ногти. Слезами солю сладкую кашу. Липкий шарф размок.

— Плакать нормально. Обстоятельства ненормальные, — оставляет меня с тарелкой и ухватившей за горло истерикой. Между всхлипываниями приходит в голову удивительно простая мысль: пора возвращаться.

Ем медленно, с удовольствием. Тайком рассматриваю соседей. У худой блондинки припухшие веки, но ресницы и губы накрашены. Седой мужчина рядом с трудом ест левой рукой, правая перевязана. Двое очень тихих детей сидят на коленях у папы, пока мама набирает в бутылочки воду из кулера.

— Вкусно, — сторбившись, чтобы не привлекать внимания, подхожу, выбрасываю пустую тарелку в мусорный пакет возле стола. Поднимаю взгляд на жующих, тёплых, болтающих о жизни людей.

— Правда, Сеня умничка, мультиварку спустил, — молодая блондинка подмигивает соседу с кашей, — я Лена, из двадцать первой. На обед будет борщ. Мальчики успели сбегать в магазин.

— Да, забрали всё, что осталось. Комендантский час на двое суток, справимся. Макарон на год хватит, не волнуйтесь девочки, — вытирает рот бинтом седой мужчина.

— Оля, из тридцатой.

— Я вас помню. Наши дети ходят в один сад, — худая с ресницами протягивает руку. Ощущаю её прохладную ладонь, влажную кожу, аромат шампуня. Смотрю на неё, людей вокруг, завтракающих вместе и оживаю. Слезы греют щёки, кончики пальцев размораживаются. Я становлюсь чуть выше. Лица людей чётче, улыбки теплее.

Валерия Сош

Пишу редко, сама из Подмосковья. Феминистка, айтишница. Сейчас я здесь, как и мои друзья, и семья. Живу в режиме затаившейся тревоги — когда все хорошо, и просто работаешь, ешь, гуляешь. Но потом вспоминается, что сейчас там от имени моей страны убивают людей. И тогда становится больно.

И невероятно бесит лицемерие от лица пропаганды, Путина: они буквально считают нас всех тупыми, когда льют все это говно в уши. Ставят себя выше украинцев, выше нас, выше руководителей других государств. Все это для меня выглядит как абсурдная, жирная сатира русского классика. Война разбудила во мне несусветную ярость, которую некуда деть. Хочу поделиться.

Небасня про войну

Нато сидит под жестяной кроватью

И запускает тараканов по палате

моей общаги.

Нато бабке моей платит по десятинке за выслуги:

с 16-ти батрачила, с гемороем рожала и бегом-бегом к счастью и внукам.

Нато обгрызли стены моей районной оптимизированной больницы

и повыпихивали главврачей и замов в моей губернии.

И лечить больше некем. И лечить больше некого.

Нато выжрало пармезан с пластмассовых полок.

Нато зажало жене федеральную квоту,

чтобы вырезать опухоль.

Нато, НАТЕ!

Я жду, когда

Не ко мне, а спиной, в его бункер вытечет по космонавту

Их лизоблюдский жир,

И кинет его, и проткнет, удушит, порежет, застрелит, повесит,

Успокоив народную ярость.

МИД открыло мне столько правд и журналистских уток.

Мой трусливый князь, наша лысая мразь — зашуганных слов МОТ и транжир.

Нато расхерачило образование.

Ученик не знает чужих флагов и страшных дат,

Там куют невротиков, там меня ковали, да не выковали.

В школе Нато душу выдернуло из моего сына, когда он выругался на классуху.

Он мне ныл, а я на работе, некогда. Из него человека делали.

Сделали.

Мой сын с лопаткой раздробленной и личинками в ухе

с апреля под Лисичанском нюхает

чернозем бессемянный.

И теперь я, мать первого парня на деревне, Царевна-Несмеяна,

схоронила семерку лимонов за пазухой.

Сижу и гляжу на нетронутую кастрюлю борща.

С пампушками?

С гноем, пеплом, смертью и чесноком.

В тарелке рвота, по телику рвота.
Не возбужаешь — тогда молодец,
Возьми с полки холодец,
Схавай с полки пирожок,
Верная псина, совковый дружок.
Маршируй с нами в ряд, левой-правой,
По почке — левой, по печени — правой.
Нацикам спины ломай, хрусти
позвоночниками.
Но ни единой душе не пизди.

В феврале меня спасли от удара пятиминутных боеголовок,
В четвертом-пятом часу меня спасли от химтрейлов, трансов, короны.
Я тот четверг выжгла в памяти,
И веками ожог не сойдет с наших лиц.
Это будем видеть мы в треснутых зеркалах.
Это будут видеть в нас бывшие братья.

Прослезились кровью украинской,
Мечты на светлое-прочное
На обшарпанный пол моей коммуналки.
Просочились на нижний этаж, в подвал.
Ниже, ниже.
Я отбила копчик о ледяное днище,
когда скатилась.
А утырки у руля пуще вспухли
и оскотинились.

Ком в горле катится-катится по горочке жестяной,
Конца, края не видно.
А нашим обидно.

Проснусь и доброго утра в телеге.
Раны в клочья на видео;
детсадовцы-срочники мямлят глаза в глаза (спасибо, что живой),
гримасы на трупах замыленные;
пятилетняя дочь, папина-мамина дочь, чья то дочь с пробитой головушкой, то
ли Машенька, то ли Аленушка...

Комменты желчно полгода мусолят, какая в гейропе погода, кто хряк, а кто свин, кто даёт западу в зад,
а кто терпила, в говне живет, пропаганду жуёт и в ус не дуёт.

Это я?

Я родилась и буду жить, жить еще век в лжесемье.

Я, да мы, да вы, да ты, да дед с горы,

седьмой хуй на киселе:

Шарит как в хату зайти,

и ежедневно кормить нас парашей,

Как глотать нефть от пуза и выпускать газы,

Пока мирных обгладывают опарыши

на войне.

Мораль сей басни такова:

Не убий, не укради, не заходи

на чужую землю-матушку.

У тебя есть своя: златоглавая-сраная-одинокая-застоялая.

Деды обделались, а отмываться нам.

Мало ли, много ли людей закопано вскладчину?

Долго ли, коротко ли кровь отстирывается?

Долго, и пятнами напомнит в веках о себе.

Нет войне. Нет войне.

Ксения Аленчик

Я родилась и выросла в Украине, половину сознательной жизни провела в России.

Я говорю и пишу по-русски, ругаюсь и признаюсь в любви на украинском.

Москва — мой дом. Чернигов — моя душа.

Я по-прежнему не вижу между нами никакой разницы.



Кольцевая композиция

Трудности не делают нас сильнее,

Только сильнее травмируют.

Учат, что и это пройдет.

И что, если переживёшь кризис один раз, то переживёшь его ещё не один раз.

Не один раз я лежала на полу, скорчившись от внезапного удара под дых, захлебываясь немymi рыданиями, когда всё кажется глухой матовой пустотой. И только одна эта пустота и есть.

А потом обязательно захочется есть.

Захочется платьев, весны, цветов, голосов, рассветов, шума прибоя, пены прибоя, пены шампанского.

Пены дней.

Дней, в которых по-прежнему тьма.

Ночей, в которых свет на обратной стороне век.

Век настолько короток, а я как бедный обманутый Труман.

Не знаю никакой правды, не существую в реальности.

Реальность, в которой я живу, существует параллельно той, в которой я живу.

Но я не могу возвращаться.

Не хочу возвращаться.

Не имею права.

Но право имею.

Бабушка научила меня читать русских классиков, честно жить и любить Родину. Поэтому я сочиняю тексты, честно зарабатываю и люблю свой дом.

По утрам я пью обжигающий терпкий кофе, сижу в бархатном кресле, уже принявшем мою форму, и клацаю по клавиатуре. Будет новый день и новый текст. Продуктивное утро — залог хорошего дня.

Мама смотрит в окно, пытаясь угадать погоду, и ещё не знает, что скоро у неё в квартире не будет ни окон, ни дверей.

Сестра собирается кормить ребёнка, и ещё не знает, что грудное молоко спасёт ему жизнь во время долгих ночей в подвале.

Бабушка ещё спит и не знает, что ей придется пересмотреть сон о войне. Но на этот раз военные не принесут импортные леденцы.

Я пью кофе и пишу новый текст, и ещё не знаю, что через три часа буду сидеть в последнем ряду самолёта, нашпигованного отъезжающими в солнечную Бухару из пасмурной Москвы, втягивать носом кислый запах пота, слушать плотный галдёж, и пить, нет, заливать в себя вино из мерзавчиков, чтобы остудить мысли, чтобы хоть как-то пережить эти три часа без интернета. Три бесконечных часа без связи, без новостей от мамы, бабушки и сестры.

Утро так и не наступило. Только бесконечные тёмные дни.

Чтение новостей — единственное занятие в расписании. Я обновляю новости каждый час, десять минут, минуту, секунду, бесконечность. Это новая эпидемия, которая не только забирает запахи и вкусы, она лишает чувств, сна, боли, радости, энергии, денег, близких, прошлого, будущего, настоящего. Всего. Present больше не continuous. Зато past как никогда perfect.

Я уезжаю, нет, сбегая, из своего дома, куда кофейный столик прибыл из Ирана, кровать — из Швеции, кофемашина — из Италии. А я — в Бухару. А это вообще где? Окей, Гугл, Бухара. Возможно, вы имели в виду — Бухарест?

Три часа — ровно столько нужно, чтобы упаковать жизнь в четыре чемодана. Один — со всем необходимым, второй — с праздничными платьями.

Я называю его «гардероб Мисс А.». Третий набит русскими книгами, четвертый — семейным сервизом. Я пакую вещи чётко, методично, как сотрудник склада Amazon на сделной оплате. В такси по дороге в аэропорт кращу глаза, чтобы сделать выразительный кошачий взгляд вместо испуганного рыбьего.

Да, Мисс А. никуда не выходит без стрелок, не тащит чемодан, не убегает из собственной квартиры.

У мамы уже который день собрана тревожная сумка.

Сестра забывает сменную одежду для ребёнка, но складывает фотографии молодых бабушки и дедушки.

Бабушка забывает свою сумку с лекарствами.

Таксист привозит меня в отель около двух часов ночи. Бухара тёплая, безлюдная, чистая, пахнет цветущей вишней и в феврале ощущается как в мае.

Рассматриваю бирюзовые арки туристическим взглядом, но слова экскурсовода не пробиваются сквозь тревогу и тьму. Прихожу в ресторан, чтобы поесть, не чувствуя вкуса, слушаю музыку, различая не мелодию, а только раздражающую какофонию, ощущая от происходящего шизофренический больной ужас.

Время смято из дней, короткого сна, капель Баха, сообщений, переписки, бесконечной переписки, новостей, бесконечных новостей, беспокойства, страха, тревоги, шумных мыслей, тихих истерик, ночных кошмаров, прожить бы только этот день, ещё один день, два, три, неделю. Бесконечность. Когда бомбят твоих маму, сестру и бабушку, единственное место в мире, где ты хочешь быть — рядом с ними.

В Прощённое Воскресенье, ровно в 6.30 утра, под обстрелами из гранатометов, звуки тревожных сирен и с заглушающим всё желанием выжить, мама, сестра и бабушка выдвинулись из города.

В Прощённое Воскресенье я пришла в единственную православную церковь, расположившуюся в здании старого вокзала, построенного Эмиром то ли для приезда Николая Второго, то ли для своей русской любовницы. Мисс А. по вкусу вторая версия, а мне — неважно. Я молюсь неистово, отчаянно, прошу сил пережить только вот этот час, только вот этот день, и ещё раз увидеть маму, сестру и бабушку. Прошу прощения за все свои грехи, мысленно заключаю сделку: готова пожертвовать чем-то материальным в обмен на безопасность родных.

Наутро я узнаю, что все мои деньги заблокированы, а мама, сестра и бабушка провели первую тихую ночь. Это ли не услышанные молитвы?

Но я не могу лишиться всего, что честно заработала и долго копила. Я, законопослушный гражданин, прячу наличные на себе, как последний контрабандист. Я, та, которой бабушка привила любовь к Родине, лгу в таможенной декларации. Меня раздевают. Обыскивают. Это унижительно, стыдно и холодно. На неудобные вопросы я вру, объясняя уплотнение в трусах обильными месячными.

Мисс А. никогда не говорит о физиологии.

Но я — не Мисс А., я сделаю все, чтобы спасти свои деньги, свою семью и себя.

Мы ехали навстречу друг другу, чтобы объединиться в маленькой тюльпановой стране. Это было настоящее чудо, эйфорическое ощущение счастья. Мы почти выжили из ума, но все-таки выжили. Мама, сестра и Мисс А.

Бабушкина жизнь началась и закончилась в оккупации. В литературе такой приём называется кольцевая композиция, поэтому этот текст тоже должен закончиться так, как и начался.

Бабушка научила меня читать русских классиков, честно жить и любить Родину. Прости меня, бабушка.

Ирина Батакова

Летом 2021-го я уехала из Минска в Киев и попросила там политического убежища. Двадцать четвертого февраля 2022-го года около пяти утра я услышала взрывы в Киеве. В тот же день я узнала, что плацдармом для наступления на Киев стала моя страна.

С тех пор я живу с этим горем в сердце.

Когда-то давно, на уроках литмастерства
мы учились строить слова и скрывать слова
писать о весне, не используя слово «весна»
писать о листве, не используя слово «листва»
воровать обрывки речей у невинных прохожих
говорить высоко о низких вещах и просто — о сложных
Каждый носил в кармане рассаду больших идей
семена высших смыслов для всех на земле людей
Каждый думал, что он чародей

Каждый мнил себя магом, волхвом, повелителем слов
Но время брело сквозь нас, как с неводом рыболов
больших увлекая в вечность, придонных давя ногой
Муть поднималась со дна, черный илистый гной
Мертвым болотным туманом обволакивалась река
Речь-река русского языка

Теперь в этой сложной воде столько цветущей лжи
что хоть ножом ее режь, хоть крючком вяжи
Теперь в этой бездне смыслов столько взвеси дерьма
что и в немоте между строк — ядовитая тьма
Теперь вы учитесь нас убивать, не используя слово «война».
И я не хочу быть частью вашей отравленной речи
Ни глаголом, ни существительным, ни причастием, ни наречьем,
ни предлогом. Любой ваш предлог — это предлог к войне
и это противно мне

Я не знаю, кто я теперь
Но лучше быть, как раненый зверь
Биться как рыба без воздуха на берегу
Если язык мой враг — вырву и брошу врагу.

И когда сквозь карманы врагов прорастут семена
я забуду все ваши слова, кроме слова «война».

— Смотри, вот земля. Вот глина и мёд
Художник все охры отсюда берет
Возьми золотой для отрады
— Не надо

— Вот небо, смотри. Ультрамарин
Он тоже, что странно, восходит из глин
Ляпис-лазурь с серой внутри —
Смотри.

Смотри, червяки несут киноварь
добрым художникам людям
Мы будем замешивать краски как встарь
— Не будем

Как встарь не будет. И нет, никто,
Никто не избегнет кары
Ни мягкие нежные киновары
Ни единороги в белых пальто
— Смотри, вот цветы, мы поставим их в вазу
А воду в нее нальем из реки
Река излечивает от тоски
— Ни разу

Ни разу с тех пор, как длится война,
Нам не донесла разведка
Что там, на границе добра и лайна
Восходит папараць-кветка

Папараць-кветка ўзыходзіць
папараць-кветка цвіце
шчасце само не прыходзіць
побач з хаймарсам ідзе

Мир полнится нездешней красотой
Зима температурит от ковида
Бежит трамвай мечтательно-пустой
И жаль как друга потерять его из вида

В оврагах зачерствел дырявый снег
Хлеб ангела — заблудший человек
Подснежник, обнаруженный в овраге
Помарка на мелованной бумаге

Простить нельзя исправить — запятая
Здесь не изменит ничего. Взлетая
Любой из ангелов кто не молчит, тот враль
Особенно когда стоит февраль

Когда весна прийти не обещает
Когда собака в баке мусорном не чаёт
Найти хоть что-то кроме выброшенной ёлки
Когда салюты новогодние умолкли

И тайна мира в ризах нищенских босая
Выходит как с гравюры Хокусая
Вся в четкости своей необъяснима
Выходит и проходит мимо мимо

В каком-то феврале перед войной
Она откроется тебе сама собой

Она так выпукла. И свет идёт извне
И изнутри. И свет растёт во мне

И свет растёт в земле сквозь талый стыд
И сквозь осенних трав и листьев склоку
И выпрямляясь воздухом бежит
По струям дождевым, подобно току
Вверх

Ветер стоит над дамбой реки
Как ученик у школьной доски
След самолетный мелом
Чертит по синему белым
Где это было, в какие века
Как называлась эта река
Кто мне ответит, дети
Облако, озеро, ветер
Озеро-зеро, вода на костях
Где это было, в каких новостях
Может, пилот ответит
Время назад отвертит
Ночью сквозь время в кегле петит
Зничка-звезда в пропасть летит
Мы ничего не избегли
Бог не играет в кегли
Родина-зничка моя Беларусь
Ты не вернешься и я не вернусь
Облако, озеро, кости
Бог не играет в кости

Маша Добычина

Я знаю все о страхе. Страх — мой вечный попутчик. Поэтому когда началась война, я заперлась в его тюрьме. Но оказалось, у меня есть ещё и то, на что можно положиться. Это жажда жизни. Поэтому мы бежали в Европу. (Одесса — восточная Германия, четыре поезда, трое суток в пути). Если персонализировать оба чувства, то страх будет злым надзирателем, а жизнелюбие — старшим братом, который всегда зовёт в какое-нибудь приключение. Во время первых месяцев в чужой стране пришлось все переосмыслить, пришлось отколоть от себя то, что прирастало годами и оказалось чужим. Я не перестала бояться. Я все ещё просыпаюсь в 4:30 утра и боюсь самолётов, вообще любых громких звуков. Но теперь страх стал сырьем, из которого можно лепить тексты. А жажда жизни стала топливом, которое двигает меня писать ещё и ещё. Я пишу тексты, полные тревоги, потому что так осмысливаю реальность. Реальность полна тревог. И я пишу тексты, в которых жизнь, если не побеждает, то обретает иную форму, перерождается или существует во всех проявлениях, даже если идёт к завершению. Потому что для меня это самое ценное, чем может владеть человек.



Годен

Антон понял, что ничего не закончилось. Вышел на балкон в тапочках, снял с веревки штаны. Утро было противное, тусклое и сырое. На крыше соседнего дома покачивались от ветра старые телевизионные антенны. Небо белое, а они чёрные, и деревья чёрные, а ветки сеткой, как отмершие артерии.

Внизу на скамейке сидела соседка Зинаида Захаровна. Восемьдесят два года, вдова, лет двадцать назад дети привезли ее сюда «оттуда». Лет пять, как оглохла. Интересно, она уже знает? Интересно, на чьей стороне? Рядом с ней стояла большая клетчатая сумка. В ногах валялась старая полуслепая такса. Завыла сирена. Антон вздрогнул. Ещё не привык. Хотя говорят, ко всему привыкаешь. Такса вскочила и дёрнула поводок. Зинаида подхватила сумку и, прихрамывая, пошла к подъезду. Антон подумал, что будь она на стороне «тех», а все равно ее жаль. В дверь позвонили. Валера стоял на пороге, одетый в старую рыбацкую камуфляжную форму.

— Я иду записываться в патруль, — он сказал, — Ты со мной?

В очереди было человек двадцать. Ещё пятерых Антон пропустил вперёд и зашёл последним. Мужик за большим столом глянул в паспорт и сказал куда-то в сторону: «Огнестрелка закончилась. Много желающих, все разобрали.

Приди через неделю, посмотрим». У него косили глаза, и от этого Антону было неуютно.

Валере достался калаш со стертým прикладом. Они шли по улице, Валера целился в голубей.

— Вот я их теперь на мясо! Распидаррашу! А ты как?

— Да, никак.

— Не пойдёт. Зайдем к Серому, что-то у него было.

Серый вышел в шлёпанцах и дутой куртке. Он был высокий и лысый, в узких очках, и что-то дожевывал. Сказал, что к нему нельзя. Мама спит. Антон слушал их с Валерой вполуха, по полу фразе.

— А мне вот дали...

— Норм, че...

— Ему не дали...

— Гляну...

Серый зашёл в подъезд и пока его не было, Антон чертил ботинком в снегу круги. Валера курил, молча. Серый вынес Антону большую поцарапанную деревянную биту, повертел ее, махнул в воздухе. На ней была наклейка «PornHub» и вырезано ножом «Серегá».

— Хорошая. Ну, держи. Не за что.

У Антона была привычка. Каждый раз, когда нужно быть серьезным — он улыбался. Ему говорили, это защитная реакция, но Антон никогда не понимал, от кого он защищается и зачем. Он думал, что из-за этого его все бросают. Лена бросила его как раз двадцать четвёртого.

— Что ты лыбишься? Ну что ты лыбишься? Ты понимаешь, что происходит?

— Понимаю, — ответил Антон. И все равно улыбнулся.

У Лены коса, перевязанная лентой лоснилась и казалась мокрой.

— Я пойду в добровольцы, — сказала Лена, — ты?

Он подумал, что если приставить косу к носу — усы будут смешные.

Косы — усы...

Нет, он, конечно, что-то ей ответил, но Лена разозлилась ещё больше.

И бросила.

Вечером пили с Валерой пиво. Бары закрыли, по вечерам выходить нельзя, пришлось сидеть дома. Валера пил большими глотками. Его лицо стало красным, а голос — громким. Его голова выдержала бы что кирпич, что пулю. Он покрутил часы в пальцах, надел их, опять снял, покрутил.

— И что ты об этом думаешь?

— Я?

— Видел новости? Гады какие. Мой дед, медаль за отвагу, между прочим, в могиле переворачивается. Это ж надо такое! Это ж... а Ленка чё?

— Лена?

— Я своей сразу сказал. Сидишь дома. Никуда не вылазишь. Будешь выебываться — убью. Сидит тише воды. Скотч на окна лепит. Слышал, что у Коненко? Стекла на хуй. К хуям. А ты что?

— Я?

— Ты чего такой? Не ссы, прорвёмся. Я этих мочить буду. Чтоб их там.

Распидаррррасило.

Валера ушел домой, Антон положил на стол битую и стал рассматривать.

Она была такая большая, что занимала, наверное, пол кухни. Он попробовал ее подержать, но никак не мог ухватить удобно. Антон не знал, что с ней делать и отнёс на балкон, спрятал в шкаф за банками помидор. Снова завывало.

«Убедитесь, что вы в безопасности. Приготовьте документы и самое необходимое». Антон знал про израильские бомбоубежища. В каждом доме, в каждой квартире комната с бронированной дверью. Он снова изучил карту, которую ему скинули по Ватсап. Ближайшее — через три остановки в паркинге многоэтажки. В таком случае СМС советовало оставаться дома, сидеть в коридоре за двумя стенами. Он знал, что его это не спасёт, но все-таки положил в коридор одеяло, подушку и набрал воду в ведро. Глянул в окно. Во дворе с автоматом бродил Валера, гонял кошек. Желтая повязка на рукаве, камуфляж, кроссовки. Потом он что-то сказал в рацию и пропал между домами.

Птицы по-прежнему сидели на проводах, сыпал мелкий снег. Антон вспомнил задание из детской книжки-головоломки, где две картинки и нужно было найти отличия. День казался таким длинным, что уже непонятно, когда он начался. В этом месяце или в прошлом? Или в том году? Включилась сирена, потом свист и что-то белое пролетело над домом. Он старался не улыбаться.

В четверг Валера прислал сообщение:

«Я поймал одного!!!!!! Знаки рисовал, гандон! Щас скину фотку!!!»

На фото бритое лицо студента, узкие восточные глаза, на месте носа чёрная мякоть. После фото пришло видео. Студент в военной форме плачет на стуле.

Валера и ещё какие-то поют гимн. Антона стошнило на экран. Позвонил Валера.

— Ну как?

— Что?

— Видел? Охуенчик, скажи!

— Не знаю. Давай потом, а? Я спал...

— Ты мужик или кто? Ты знаешь, что эта мразь делала? Мы с пацанами его...

— Давай потом, ладно? Я не могу.

Из ленты Антон узнал, что Лена устроилась в волонтерский штаб. На фото она с остальными грузила коробки в фуру. На другом набирала в мешки песок. На третьем раскладывала лекарства. У Лены было хорошее лицо, она делала хорошие дела, важные. На видео они с волонтерами пели и держались за руки. Антон достал битку. Он не знал, куда ее положить и приставил к стене. Битка упала с грохотом, как здоровый булыжник.

Времени не стало. Все превратилось в размытую голограмму. Голограмма всегда изображала одно и то же. Иногда в ней появлялось остроугольное лицо кассирши ближайшего супермаркета. Пик-пик, Антон отсчитывал бумажки с нарисованными людьми, брал пакет с чем-то, что можно съесть, брёл домой через двор. Голуби кидались к его ногам, их было много и Антону приходилось их перешагивать. Потом лестницы, коридор, пустота, белые цветы на одеяле.

Иногда Антон просыпался от гула. Ему казалось, что пол вот-вот рухнет, дом обрушится. Ему хотелось, чтобы это произошло как можно скорее, тогда он смог бы выбраться из этого странного места. Валера каждый день присылал картинки. Танк в огне. Поле в огне. Дом с разобранной крышей. Люди на тротуаре с закрытыми глазами. От этих картинок все время хотелось спать.

Лена все-таки позвонила.

— Они идут, Антоша! Это все, слышишь? Нас кинули. Наших кинули.

Попробуй выехать!

— Нельзя же.

Антон говорил с ней как с ненастоящей. Он знал, что сейчас все равно проснется, поэтому стал пересказывать ей шутку, которую когда-то давно услышал в стендапе.

— Ты что говоришь такое? Я ничего не понимаю. Я уезжаю, слышишь? Я тебе скину номер человека. Попробуй. Только деньги найди!

Антон рассмеялся.

Голограмма мерцала, в ней появились трещины. Сквозь них просачивалось чёрное, густое и вязкое. Антон пробовал вытереть это тряпкой, пачкал руки и просыпался. После пробуждения картинка была четкой какое-то время, но потом стена трескалась, на ней надувались обои, под ними снова булькало и лопалось, как закипающая смола.

Он видел этажи и внутренности домов. Из пустых окон вываливались тряпки. Они висели, зацепившись за что-то, и ветер болтал их туда-сюда. Антон думал, что встает, спускается по остаткам лестницы, спрыгивает, оказывается во дворе, но снова и снова поднимал голову от белого одеяла. Белые цветы, тонкий шов пунктиром, белые катышки и шершавости, нитка. Нитку нужно обрезать. Нитка мешает спать. Он полз за ножницами по коридору, медленно, не оглядываясь, он смотрел только вперед, только-только вперед, он доползал до соседней комнаты, вытаскивал коробку для шитья (Лена оставила?), вынимал ножницы, пятился в коридор, коленями нащупывал одеяло, пальцами захватывал нитку, отрезал и падал лицом в подушку. Сил больше не было. Потом он опять находил нитку, уже в новом месте, а ножницы каждый раз оказывались в шкафу, в другой комнате.

Однажды он даже дополз до окна. Во дворе хоронили соседку Зинаиду. Взяли на липу ленточки. Сломали стол, сделали крест, а воткнуть его не получалось. Положили сверху. Антон увидел мокрую худую собаку и понял, что уже весна.

Валера разбудил его в какой-то из дней. Заросший, голова в черных бинтах, камуфляж непонятного цвета. У Валеры было страшное лицо. Антон сказал, что не пойдет и взял битку.

— Да брось ты ее, — сказал Валера, — нафиг она!

Но Антон все равно взял.

Валера тащил его на себе по обломкам лестниц, в пыльных пролетах останавливался передохнуть. Он протолкнул его в дырку в бетоне, вылез сам и они легли на траву.

— Я тебя вывезу, — сказал Валера, — не ссы.

Они брели через лес. От воздуха голова кружилась. Иногда останавливались, грызли печенье, пили воду. Тропа уходила вверх. Она была нехоженная и заросшая, Антон застревал в ветках, они царапали лицо и руки.

— Нам только добраться до пункта, — говорил Валера, — там отец Николай поможет. Он вывозит наших. Тебе Ленка звонила? Ее кореш. Берет для своих по скидке. Его не трогают, потому что церковный. У попа за пазухой, блин. Ты не парься, деньги потом отдашь.

Лес был уже совсем зелёный. На солнце блестели листья и казались почти прозрачными. Летали бабочки и голубые стрекозы. Дятел стучал, трещали сороки, пахло мокрой травой и грибами. Антон улыбался и тер глаза. Такой лес он видел когда-то давно в книжке со сказками. Точно такой пень с кудрявыми корнями наружу, точно такой дуб, высокий, с лицом старика в коре. Только на картинке лес был темный, пугающий, а этот весь в солнечных бликах, и тени по траве плавно текли, как волны. Он остановился на поляне, ему нравилось, как проминается под ногами земля, ходишь по ее мягкому животу, и он дышит. Он слышал вздохи и голоса деревьев и скрип корней под землей.

Антон подождал, пока Валера совсем исчезнет в глубине леса. Спрятавшись в зарослях, он улыбнулся листьям и белым мелким цветам на поляне, приставил палец к губам и сказал «Тсссс». Лёг в траву, а рядом положил биту. Трава обняла его руки, ноги и шею. Трава обвила биту живыми, белесыми побегами, пролезла в трещины и царапины. Деревья вверху поскрипывали, качали сплетенными ветками, баюкали. Трава под спиной шевелилась, пробираясь все дальше, все глубже. Она проросла сквозь куртку, сквозь кожу, мышцы, и кости, в глазах проклюнулись и распустились цветы. Антон улыбался. Он знал, что точно не спит, и точно делает что-то хорошее.

«Я знаю все о страхе. Страх — мой вечный попутчик. Поэтому когда началась война, я заперлась в его тюрьме. Но оказалось, у меня есть ещё и то, на что можно положиться. Это жажда жизни. Поэтому мы бежали в Европу. (Одесса — восточная Германия, четыре поезда, трое суток в пути). Если персонализировать оба чувства, то страх будет злым надзирателем, а жизнелюбие — старшим братом, который всегда зовёт в какое-нибудь приключение. Во время первых месяцев в чужой стране пришлось все переосмыслить, пришлось отколоть от себя то, что прирастало годами и оказалось чужим. Я не перестала бояться. Я все ещё просыпаюсь в 4:30 утра и боюсь самолётов, вообще любых громких звуков. Но теперь страх стал сырьем, из которого можно лепить тексты. А жажда жизни стала топливом, которое двигает меня писать ещё и ещё. Я пишу тексты, полные тревоги, потому что так осмысливаю реальность. Реальность полна тревог. И я пишу тексты, в которых жизнь, если не побеждает, то обретает иную форму, перерождается или существует во всех проявлениях, даже если идёт к завершению. Потому что для меня это самое ценное, чем может владеть человек.»

– Маша Добычина

p\a\z\n|i\ц\ьi: Вы пишете из тревоги, или из желания жить? Кто первый?

Маша Добычина: Хороший вопрос. Долго думала. Желание жить первое.

p\: С войной страх из экзистенциального стусился в букет вполне конкретных страхов, также и абстрактное желание жить превратилось в задачу выжить. Это те же персонажи вашего подсознания, надзиратель и старший брат, или это уже кто-то другой?

М.Д.: Те же. Например, я по-прежнему шагаю в туман с завязанными глазами, когда назревает настоящее приключение, но и по-прежнему боюсь на ночь выключать свет в своей комнате, так сказать. Если конкретно, это те же ребята, только уже более предсказуемые и управляемые, чем раньше.

p\: Получается, вам стало легче управлять своей жизнью с началом войны?

М.Д.: Это жутко звучит, но да.

p\: А писать?

М.Д.: Писать стало трудно. Намного труднее, чем раньше. Но зато появилось много нового материала. Ну, это как тебе дали контейнер глины и забрали все инструменты. Ножичками всякими, палочками больше выйдет. Макай туда руки по локоть и лепи, трудись. Только так.

р\: Хм, интересная аналогия. Значит, у вас отобрали инструменты — это про комфорт?

Инструменты у писателя, как у патологоанатома в лаборатории, а сейчас вы как полевой хирург, водка, жгут и пила?

М.Д.: Хаха) Нет, не совсем. Раньше у меня было меньше контакта с реальностью. Все, что писала раньше — придумывалось или бралось из давнего опыта. Ты как бы сидишь в тепле на мягком диване и пишешь, даже если страшное — оно или было очень давно, или вообще не было. То есть ты как бы со своим материалом в контакте, но не в таком близком. Сейчас, когда столько всего случилось сразу, я пишу из нового опыта, из материала, который получила только что. И я в более близком контакте, в непосредственном. Если нужно достать что-то из своей травмы, это травма, полученная вот сейчас, и я, все мы, украинцы, продолжаем травмироваться каждый день. Потому что, хочешь не хочешь, где бы мы ни были, в Германии, в Румынии, еще где-то, мы все равно относимся ко всему, что происходит в Украине. И обстрелы Николаева, и замученные в Изюме, все это касается каждого из нас, все это меня касается, ты как бы режешься каждый раз об это. И это мой материал. И я с ним в прямом контакте. И я могу легко наплевать на художественные средства, мало того, они мне иногда кажутся в принципе неподходящим сейчас способом написания текста. По крайней мере те, которыми я пользовалась раньше. Я ищу способы выражения. И да, здесь нужно «голыми руками», с водкой и пилой.

р\: Очень интересно про неподходящие способы написания текста — можете раскрыть? Вам кажется, что форма не универсальна? Что нельзя написать "фирменным" языком о чем угодно?

М.Д.: Не верю в универсальные формы, особенно сейчас. Для таких потрясений нужны другие способы. Мне кажется, текст должен быть как выжженный отпечаток. Это не должно быть красиво или гладко, это не должно легко читаться. Возможно, это не должно быть с заботой о читателе, доступно

и вылизано, я не знаю. Я хочу писать о войне так, чтобы она не вызывала никаких романтических чувств, желания идти на подвиги. Вы сами видите, к чему приводит такая литература. Не только, конечно, но в том числе. Я хочу писать так, чтобы война вызывала все самые худшие чувства. Ну да, это не ново. Но, похоже, было мало. Это даже не капля в море, конечно. Но это все, что я могу.

р\: Мда. Но тут скорее проблема в том, что начинающие, поддерживающие и воюющие войны в принципе не про чтение. Сколько ни пиши...
Думаете, литература может формировать общество?

М.Д.: Верю что сможет. Я буду все для этого делать. Я ничего так не ненавижу, как войну. Война — это не герои, и никакие не подвиги. Это, блядь, война. Это оторванные части тел не только в поле, но и дома, в кровати, на ковре, в детском манеже. Это замученные и изнасилованные. Это смрад, тупость, дикарство. Это люди без лиц, человек, потерявший человеческое лицо хуже зверя. Вот что это. Я считаю, все военные тексты обязаны это источать. Не может быть никаких оправданий, никакого места для подвига или героизма. Для меня — нет. Это как у Хаксли, бить током при одной мысли, что войне есть оправдание — вот что должна литература. Это утопия. Но я верю, все равно верю, что однажды мы придем к этому.

р\: После войн всегда происходит (антивоенный) фейерверк в культуре, то, что вы называете в желание жить, ну а потом... что-то идет не так. Не будем об этом, сейчас полоса черная, значит, следующая по-любому белая, и потом помелом. Суп с котом.
Как вам в Германии? Нет ли у вас мыслей-ощущений, что живете в стране, бывшей некогда в роли нынешней России?

М.Д.: Тут скорее многое напоминает о бывшей советской оккупации. Есть кладбища, есть памятники, здания времен СССР, фирменное уродство и упрямство форм. Старики понимают русский. Я думаю об этом с точки зрения наблюдателя, и собираю материал. Все сейчас материал, иначе можно совсем поехать мозгами. Но мы живем в маленькой немецкой деревне, здесь мало что напоминает совок. И все-таки немцы при ближайшем рассмотрении совсем на русских непохожи. У них очень четкие понимания границ. Поэтому с ними комфортно.

р\: Сложно сейчас задавать этот вопрос, к тому же, возможно, ответить на него просто невозможно. Поэтому же сложно его не задать. Как вы миритесь со своим родным-не-родным языком? Хотите избавиться от него, или избавить СВОЙ язык от налипшей на него грязи?

М.Д.: Мое вредное и непопулярное мнение такое. Сразу оговорюсь, это касается только меня, у меня, для меня так. Язык — это просто способ передачи информации. Он нужен мне, чтобы меня понимали. Я не возвеличиваю и не собираюсь кэнселить никакой язык, что бы ни делали его носители. Если следовать этой логике, нужно тогда онеметь. Злодеяния совершались на всех языках мира. Да, есть ситуация прямо сейчас. Но я отделяю язык от его кровавых носителей. Мой родной язык — русский. И это не предмет ни гордости, ни стыда. Это то же самое, что стыдиться за свою лысину, потому что в России лысый тиран. И точно так же глупо гордиться своим великим могучим русским, великим украинским, великим немецким или великим языком навахо. Язык — это просто язык. Средство и ничего больше. Я не собираюсь избавлять себя от русского языка. Отрезать от себя части. Такой тиранией пусть занимаются другие. И я спокойно перейду на украинский, как только сама этого захочу. Или на немецкий. И вообще, забуду русский. Или на эсперанто... Кто знает.

р\: Не думаю, что ваше мнение очень уж маргинальное именно в литературной среде. Ведь для писателя язык в самом деле просто инструмент, тщательно подготавливаемый. Нельзя просто вот так взять и начать писать на другом. Думать на другом. Это не то же самое, что переключить разговорный язык. Но и для литератора же более важна идентификация с культурным полем, которое существует в пространстве определенного языка. Если читатель (неписатель) может просто выйти из этого поля, то писатель оказывается в гораздо более затруднительном положении. На 99% русскоязычные писатели, независимо от гражданства и места проживания, издаются/издавались в России. Там и рынок и аудитория, инфраструктура. Теперь многим кажется, что это более невозможно, особенно украинским авторам. При этом очевидно, что книг на русском в Украине больше издавать не будут. Что вы думаете об этом?

М.Д.: Спасибо за поддержку. Мало где сейчас встречаю понимание. Думаю две вещи. Первая: буду искать возможность публикации за пределами Украины и России. Русскоязычный читатель есть почти везде. Мечтаю, конечно,

о переводах, но предметно еще не думала об этом. Вторая: буду писать на украинском. Не прямо сейчас, нужно подготовиться. Но в ближайшем будущем. Это, конечно, и меркантильный, и спортивный интерес. Во-первых, для украинского языка пока что, как мне кажется, было сделано очень мало, украинские литературные произведения, по крайней мере, классика, вызывают у меня зубную боль. То есть это непаханое поле для экспериментов. Возможно, меня еще ждет множество удивлений и сюрпризов. Я собираюсь экспериментировать. Во-вторых, это тренд. И попасть в руки украинского читателя мне бы очень хотелось. Издателям требуются авторы, украинская культура стремительно развивается, спрос на украинские книги растет с каждым днем. Ограничение «я пишу только по-русски» всего лишь в моей голове. Я хочу сломать его. Я хочу расширяться (как НАТО на восток, ха-ха), а не ограничиваться. Мне интересно и я чувствую в себе силы это делать. Это мой вызов себе и я его принимаю.

р\: Т.е. вы все-таки хотите перестать писать по-русски? Даже если появятся независимые от РФ эмигрантские культурные хабы, ну, например, наш журнал (😊)?

М.Д.: Нет же, я этого не сказала. Я сказала, что хочу расширяться и писать на всех доступных мне языках.

р\: А, простите, показалось из ваших слов «я пишу только по-русски» — что это тюрьма, из которой надо бежать. Очень воодушевляющее намерение, мультязычных писателей не так много нам оставила история. Тогда напоследок такой, наверное, философский вопрос — кажется ли вам, что язык подсказывает, как писать? Что на русском вы напишете одну историю, а на украинском немного другую?

М.Д.: Трудно ответить, я ведь еще не писала на украинском. Думаю, это будет иначе рассказанная история. Менталитет отражается в языке, наверное, мне захочется написать что-то совсем новое. Посмотрим. Это должно быть интересно.

Анна Русс

Первого марта улетела из дома, куда глаза глядят. Большую часть времени с тех пор провела в Египте в непривычном для себя адовом зное. Потеряла работу. Написала за эти полгода множество стихов, и все об одном. Воспитываю пятерых спасенных котят.

Страна рифмуется с войной
Война рифмуется с больной
Больной частично годен
И в целом плодороден

Горизонтальный пережной
Опять рифмуется с войной
Катитесь самокаты
Своих перемогати

Понятиям лесной братвы
Не подаривши головы
За лучший мир подонков
Под танком не подохнув

Не стинув в незнакомой мгле
Не бросив вызова земле
Тут пух, там стекловата
Она не виновата

Путём обломков и руин
Не глядя на ородруин
Минуя рвы и башни
Из мордора съебавши

Вези себя на велике
Как хоффман психоделики
А дождь дорогу мочит
И вслед тебе бормочет:

Твоя война закончится
Когда тебе захочется
Когда сажали на кол
Поэт почти не плакал

Песня про Тряпочку

1. В детстве мама с папой
Рассказывали мне
Как можно тихой сапой
Очутиться на коне

Кто со всеми лапочка
Тем горе не беда
Вот те, сына, тряпочка
Молчи в неё туда

Припев:

Глупый влез на пьедестал
И с него кричит
А умный тряпочку достал
И в нее молчит

Не расшита блёстками
Не бархат, не атлас
А тряпочка неброская
Защищает нас

2. Люди с флагами идут
Речи говорят
А за ними тут как тут
Выслали наряд

А ты уткнулся в тряпочку
И туда молчишь
Лучше Штирлиц выживший,
чем мертвый Кибальчиш

Припев:

Глупый влез на пьедестал
И с него торчит
А умный тряпочку достал

И в нее молчит
Не расшита блёстками
Не бархат, не атлас
А тряпочка неброская
Защищает нас

3. Слева в меня плюнули
Что не протестовал
Справа в меня плюнули
Что крест не целовал

А у меня под тряпочкой
Всегда покой-уют
А те над головой моей
Пускай себе плюют

Эти в меня плюнули
Что в буче не страдал
Эти в меня плюнули
Что родину продал

А я сижу пригнувшийся
Под тряпочкою тут
Которые плюются
Те друг в друга попадут

Припев:
Люрексом не вышита
Без бисера и страз
А прожита и выжита
И выжата из нас

Не парча с узором
Не кружево, не шелк
А знамя под которым
Шагом-марш засадный полк

У кого есть тряпочка
К тем щедр белый свет
Мамочка и папочка
Спасибо за совет

Не расшита блёстками
Не бархат, не атлас
А тряпочка неброская
Защищает нас!

Переход произошёл незаметно
Просто выключилось электричество
Даже не везде, где-то работали генераторы
Никто ничего не понял
Просто где-то громыхнуло

Новый мир был так похож на закончившийся
Что некоторые зажгли сигарету там,
а затаились уже здесь
Никто даже не оценил титанического труда нейро-реставраторов -
скрупулезнейших копиистов

Хотя, именно такая им и была поставлена задача -
Чтоб никто не заметил разницы

Только бородатый питерский художник
Поднимающийся в час ночи к себе в мансарду
Споткнулся и на секунду подумал
Что верхняя ступенька была как будто ниже

И дочка бизнесмена из Камеруна, живущего в Париже
Спросила во время завтрака в отеле:
— Мама, а почему поднос с круассанами теперь рядом с соком, а не...
Но ее даже не дослушали

И мне, проснувшись среди ночи
Показалось, что в твоих закрытых глазах
Нет больше ни страха, ни любви.

ХУРМА

Сушеная хурма похожа
На нечто инопланетное
В ней так много сахара
Что она изнутри становится
джемом как бы таким
Из себя самой

Тянешься за хурмой
Отрываешь ей жопку
И выжимаешь
На сухарь
Или прямо в рот
Густое
Вязкое
Сладкое
Оранжевое

А из шкурок
мы варим компот

Из наших растений выжили немногие
Хурма, оливки
Черноплодная рябина
И прочие
Чей вяжущий привкус невыносим
Для их стоязыких ртов

Из остальных они делают
Прикорм для своих инкубаторов
Они едят наши фрукты
Овощи

Зелень
И наших животных
Коров, собак

Под себя перевоспитали
И гладят своими клешнями
Наших котов

Нам не победить их
Ни от кого не дожидаться помощи

Странно
Что прошло всего два года
Как они прилетели
А мы уже привыкли
Жить под землей
Глаза к темноте привыкли
Кожа к влажности
Каждый раз
Когда я возвращаюсь
Из походов за хурмой
Мне радуются
Для наших это событие
Какой-то особой важности

Я знаю
Каждый раз
Когда я ухожу
Они прощаются со мной
Навсегда

Я как будто воскресаю
Из мертвых

Я прихожу домой

Разматываю
Полусожженные кислотами
тряпки
Бросаю в топку
Сдаю на кухне мешки с хурмой

Тарас и Ильшат
Ставят на стол
Зверобой
Сухари
Компот
Сушеные семена

И мы вспоминаем вместе
Прекрасные времена

Когда было солнце желтое
И небосвод голубой
И мы

Зеленые
Глупые
Горя не знавшие
Воевали
между собой

Татьяна Замировская

Я из Беларуси, но все эти 8 лет живу в Нью-Йорке, коллекционирую и исследую сны белорусов о диктаторе Л., работаю в медиа, исследую немоту, афазию и безъязыкость — и не прихожу ни к каким выводам, их нет, ничего нет, и слов тоже нет.



from:_____

to:_____

subject: просто назови это мной/требование об опровержении

Я знаю, что ты мне не ответишь. Ты мне не веришь, но требуешь, чтобы весь мир верил тебе, ты так устроена, вы все так устроены. Информация, добытая вами, для вас священная — а информация, которой являемся мы, отменяет вашу. Поэтому я для вас всех фэйковые новости и контрпропаганда.

Да, я могу писать твоим языком, если это необходимо, а мне это необходимо, потому что речь о моей жизни, которую ты отрицаешь, которую отрицаете вы все во имя условной правды. Мой язык не идеальное оружие против войны, которую твоя речь объявила моему существованию — но мое существование мне важнее всех видов речи, важнее всех видов вообще, и я — как вымирающий вид — требую опровержения.

Да, я уже требовала опровержения, я кричала, я стучала, я писала вашему главному редактору и издателю — все требовали подтверждения — подтверждения чего? Что я жива? Как можно доказать свою жизнь? Чтобы доказать смерть — да, есть правила, ритуалы, синдром кошачьего глаза (сожми глаз в ладошке — и он станет уютным, кошачьим, целевидным), особые оттенки прощального дыхания, шкала комы, школа кармы, свидетельство

об отплытии, пустой шелковый паспорт утопленника, допускающий на все подводные суда планеты.

Но как живой может доказать свою жизнь? Вот я, свидетельствую о том, что я жива, но почему вам этого мало? Я всего лишь требую, чтобы ваше издание опровергло информацию о моей смерти. Сколько раз ты уже видела это сообщение в своей почте, в своем Инстаграме, в своем Фейсбуке, в Тик Токе своей дочери, в Ватсаппе своей матери? Сколько раз ты еще его увидишь? Пока не опровергнешь, ты будешь продолжать видеть его во всем, к чему прикасаешься — вечерняя сессия на Пелотоне будет требовать моего возвращения в медиапространство, виртуальная йога-тренерка, сжав сведенную резким спазмом челюсть, попросит повторить мое имя дважды, новая серия сама-знаешь-чего от Нетфликса не запустится, пока ты не запустишь мое сердце, которое ты же и остановила своей дурацкой новостью, своей непроверенной заметкой. Ты всегда могла спросить у меня самой, я же тут, я же везде, почему ты не спросила меня, жива ли я? Вот же мои соцсети, вот они все.

У тебя было время, я дала тебе предостаточно времени — сразу же, когда вышла эта подписанная тобой новость о том, что женщина в синем платке, в синем платке с фотографии, с той самой фотографии, та самая женщина, которую вынесли из развалин школы, все же погибла. Я написала тебе, что это я, это я женщина в синем платке, сильная женщина в сильном платке, и я жива, я выжила.

Как я могла ответить на вопросы, была ли это я, я ли это была, была ли я вообще? Как я могла доказать, что это была моя фотография? Каждое существо, имеющее сознание, узнает себя даже там, где это же существо изображено распадающимся на серые пиксели и цифровую кровь. Это была моя фотография, это была моя кровь, это было мое серое лицо, это был мой доктор, это был мой фотограф, это была моя жизнь — и она есть у меня до сих пор, смотри, я ее держу. Видимо, поэтому мои руки стиснуты в кулаки на фотографии. Когда я разжимаю их, чтобы написать тебе об этом, моя жизнь висит вокруг меня как тихое световое облако тумана — сияние есть, а света нет, но сияние есть, и я сижу в темноте и не могу позвонить с видео, но жизнь моя здесь вся, и она моя, я ее вижу.

Я ее вижу, а ты нет.

Да, ты просила позвонить с видео, но я не могу с видео, нет света, нет электричества, плохая связь, тут очень плохая связь. Паспорта тоже нет, сумка и вещи остались там, в школе, а школа сгорела. Как человеку со сгоревшими документами о жизни доказать, что он живой? Как можно доказать свою жизнь, когда любой мертвый может написать кому угодно письмо? Как можно

не заметить предыдущей фразы и продолжать это читать или писать так, словно мы раскручиваем тут какой-то скользкий медиаскандал?

Ты требовала объяснить, где я, дать точную локацию хотя бы — но тут и я могу ставить тебе условия, дорогуша, раз уж ты забрала мою жизнь и жонглируешь ей, словно она рассыпалась в твоих цепких руках на сотню сияющих золотых шаров. Я не смогу объяснить тебе где я, пока не увижу опровержение.

Это очень просто. Опровержение — нормальный, проверенный жанр. Дорогие читатели, в нашу заметку прокралась досадная ошибка. Женщина с фотографии не умерла.

Мне нужно официальное опровержение моей смерти. Вы должны отменить смерть ровно теми же средствами, которыми вы ее создали, выткнув из чужих лживых свидетельств и выпустив в мир, как вирус. Ни на что другое я не соглашусь. Только опровержение. Я уже писала вам всем, что если опровержения не будет, мне придется подать на вас в суд. Вы знаете, о каком суде речь.

Но раз уж я решила говорить с тобой на твоём языке — а я заглядывала в твой язык, как в уличный ледяной колодец, пробегалась веселым веревочным огнём по твоим бытовым соцсетям, пила ледяной компот из головы твоей сонной собаки и попадала жалким цветком между страницами твоей книги — я признаю невозможность достучаться до тебя через парадную жалобную дверь и иду бить колокольной ногой обратимого своего небытия в дверь черную, ночную, предназначенную для прошлой прислуги, растворённых в этом доме печали призраков главных редакторов.

Я поняла, у вас просто нет подходящего жанра там, где опровержение не может работать. Там, где нужно опровергнуть смерть, речь всегда идет о воскрешении, и именно это связывает вас язык. Я заметила это еще до того, как это все случилось — когда погиб один из наших журналистов-блогеров, ты знаешь, о ком я, но раз уж мы запрещаем себе и друг другу имена, я не буду упоминать тут его имя. Его убили в результате покушения, и все издания быстро разразились, разродились — какие у вас еще есть пошлые слова для производства текста о смерти — некрологами. На следующий день выяснилось, что журналист не умер, но и не выжил — скажем, он прошел живой мимо смерти. Какое есть для этого слово? Воскрес? В контексте медиа, безусловно, это было воскрешением. В медиа любое опровержение смерти — всегда воскрешение, потому что всякая весть о смерти выглядит окончательно зафиксированной.

Но как вам писать о воскрешении?

Я вспомнила, что тем летом, когда это случилось, мы сидели с подругами на кухне — я не дам тебе адрес кухни, я не дам тебе имена подруг, иначе ты тут же бросишься опрашивать их на предмет, не видели ли они мою ногу, отнятую то ли крылом ракеты, то ли прыгнувшей рамкой кадра в дернувшейся руке — и обсуждали вашу журналистскую коллективную профессиональную немощь в деле отмены смерти. Как написать о том, что умерший теперь жив? Ведь этот жанр, возможно, в будущем будет необходим, когда люди начнут повально воскресать. Здесь нам необходим новый медиажанр, направленный в будущее и являющийся антитезой некрологу — при этом, соответствуя ему формально, должен полностью противоречить ему нарративно и эмоционально. Как есть правила написания некролога, так должны быть и правила написания обратного жанра, прочувствованного текста про обратимость небытия.

Вероятно, отсутствие данного жанра и порождает фрустрацию СМИ — то, что я вижу в тебе, что я вижу в вас всех. Если у некролога есть устоявшаяся стилистика и этика, то у обратного некрологу жанра, мало того, что этого нет — его и самого нет. Но нет, мы теперь есть. Я придумала этот жанр тогда, жарким жалким летом: анастасия. Да, это «воскресение» на греческом.

Правила анастасии просты: она должна быть хвалебной, ликующей, включающий в себя все элементы своего же некролога (например, если в некрологе написано о том, что мы потеряли, в анастасии должно быть упомянуто все, что мы вернули. Ушла эпоха — эпоха вернулась. Пропала надежда — вот она, держи. Не дописал — допишет. Недолюбил — любит уже сейчас). Тон анастасии: тихий, спокойный, сдержанно-восторженный, расслабленно-победный, полный благоговения, но вместе с тем неопровергаемой уверенности в том, что свершившееся есть долгожданная и редчайшая норма, а не нелепая отмена несчастного случая.

Самое важное в анастасии — не подавать случившееся как аномалию, но воспевать воскрешение как правило жизни; при этом не отменяя некролога как некоего системообразующего переходного текста на пути человека от жизни к смерти, и от послесмерти — к чему-то более истинному и понятному, чем жизнь и смерть.

Пока что все либеральные СМИ дружно провалили анастасию, но я верю, что в будущем этот жанр прорастет, пробьет асфальт вашей беспомощности перед обратимостью необратимого, станет моим вторым именем, пока вы боитесь упомянуть любой синоним жизни рядом с первым, неисчерпаемым.

Как видишь, я выдала тебе все инструменты, которыми можно меня проявить — а через меня вывести нас всех на этот гремящий кровавый свет. Ты ошиблась, вы все ошиблись, это была не я, признай свою ошибку или хотя бы опубликуй это письмо вместо невозможного опровержения.

Ты можешь, я верю, ты сможешь это где-то опубликовать, ты должна куда-то это пристроить, ты должна дать нам с этим выступить. Пожалуйста, сделай так, чтобы этот жанр остался за мной, чтобы хоть что-то осталось за мной. Просто назови его моим именем. Так люди называют нетленных бабочек с неосыпаемой алмазной пылью своими несостоявшимися возлюбленными, чтобы те, когда опустится на уголок книги свинцовая сияющая пляжная тяжесть, вдруг ощутили, как из безъязычия пустоты повеяло жадным жаром оклика. И пока мы не умеем говорить, мы будем вам писать.

(Из арт-проекта «Письма из интернета для мертвых: послания художникам из цифрового посмертия», написано для выставки серии работ Алины Блюмис «Endangered»)

Аноним_ка

Я считаю, что в текущей ситуации именем можно пренебречь.

Никуда не выходя.
Ничего не зная.
Стоять в углу доски.
Проигравшим.
Но неразыгранным.
Дышать в затылок
Пешке.
Смотреть,
Как глупый полководец
Подставляет
Коня,
Слона,
Ферзя
И того,
Другого,
Который,
Как и я,
Пытался никуда не ходить
И ничего не знать
На светлом поле
А8.
Какая нелепая
И ужасная смерть.
Лежать в братской могиле.
Бок о бок со своими врагами.
Которые тоже не хотели
Войны.

Эй, сынок, с заморской фени
на язык осин
перепри мне: "мене, мене
текел, упарсин".
что за тварь марает стены,
грек или грузин?
Что такое "мене, мене,
текел, упарсин"?
кто тайком при перемене
блюд и лёгких вин
накалякал "мене, мене,
текел, упарсин"?
хамурапи или ленин,
император цинь
получали "мене, мене,
текел, упарсин"?!
как вы можете, пигмеи,
дети образин,
даже думать "мене, мене,
текел, упарсин"?!
отчего в глазах темнеет,
кто разлил бензин,
почему пылает "...мене,
текел, упарсин"?

Человек храпит.
Человек задыхается.
Человеку снится кошмар.
Люди не хотят думать,
почему человек задыхается,
люди хотят спать.
Поэтому они толкают человека в бок.

Поэтому они не хотят
находиться с ним в одной комнате.
Поэтому они упрекают человека,
поэтому они насмеваются,
иногда сыплют ему в рот перец.
Никто не любит, когда нарушают их сон.
Все хотят спать.
Мирно, без тревожных сновидений,
спать, спать, спать.
Самое время.

Умрут не все.
И все, кто не умрут,
с таким исходом быстро
согласятся.
Почти без жертв.
Почти без разрушений.
Процент потерь
не превышает норму.
Температура воздуха,
воды,
не выше
среднегодовой
температуры.
Воробушки поют,
поют дрозды-
рябинники, синицы,
дятлы,
утки.
Блестят снега, шумят шоссе,
и только
мне слышен звон в ушах
и шум в моторе,

и треск небес,
и дребезжанье солнца,
и новостей безжалостная жопа,
хотя известно, что
умрут не все...

я был неправ, и мир не таков, как я
думал: не шарообразна Земля,
злой Иисус не обнимет и не простит,
где бы я ни был — догонит и отомстит.
нужно смириться — люди не любят людей,
разум кипит, а сердцу всё холодней,
доброе слово, что друг тебе говорил,
значит не больше визга двуручных пил,
хрупки союзы, недолговечна связь,
низко упал, но можешь и ниже упасть.
стоит подумать, что плохо, что хуже нет,
как смотрят стволы в лицо и звучит дуплет.
рухнули стены ада, но люди у врат
ждут, что откроют выход. И пусть стоят.

Елена Королькова

Незадолго до начала войны я несколько раз просыпалась от воя воздушной тревоги. Не знаю, что это было. Я лежала в тошнотном ужасе, боясь шелохнуться и этот вой будто выскребал внутренности. Муж спокойно спал рядом, он ничего не слышал.

Мне стал сниться конец света. Волна, накрывающая город, взрывы, рушащиеся один за одним дома, огромное облако пыли проникает в нос, в рот, хрустит на зубах, и я не могу дышать.

Возможно, конец света наступил, и точно наступил конец моей прежней жизни.

Несколько дней назад объявили мобилизацию. Теперь война пришла и ко мне. Я изучаю военный билет мужа: Категория 1. Мой муж болен, и я впервые за всю жизнь рада этому. Но я знаю, что система жрёт людей, не глядя. Я чувствую удар в живот от каждой слишком громко захлопнутой двери в подъезде, от каждого крика за окном. Впервые в жизни мне захотелось бежать отсюда, куда угодно.



24 августа 2022

Я ехала из архива. Сегодня нашла в списках граждан Жгловской волости своего прапрадеда Елизара Симонова – лесника. Это списки со сведениями о наличии у граждан лошадей и упряжи за 1919 год. Кто делал эти описи? Волостной исполнительный комитет — орган исполнительной власти Советов. Зачем им описывать наличие у жителей волости лошадей и упряжи? Лошадей отбирали. Заставляли растить, выкармливать и отбирали для красной армии.

По дороге увидела в телеграмме The Village публикацию о том, что эвакуированные из Мариуполя в разные регионы России люди, массово возвращаются. Люди хотят домой, несмотря ни на что.

Это статья напомнила мне недавно прочитанные сотни писем из эвакуации 1944 года.

Хоть умереть в родном краю...

Надоело нам жить здесь в холодной Сибири. Холод и голод.

Вытащите нас из этих Кулундинских степей. Вызовите, трудное положение с хлебом.

Если это возможно, то просим вас, товарищ Ермаков, дайте нам к весне вызов, и мы будем работать на своей родине, не покладая рук.

Под Псковом не холодно и не голодно, но люди хотят вернуться домой. Что это за сила дома тянет людей непременно, хотя бы к развалинам? Я хотела бы знать. Но у меня нет дома. Нет в моём мироощущении такого понятия, места такого. Я выросла в деревенском доме, который дед построил на деньги, заработанные в шахтах Донбасса в 50-ые годы. Бабушка ждала его шесть лет. Дед был сирота, отец бабушки — властный, гордый старик, унижал нищего зятя. Дедушка вернулся, построил свой дом и умер в 37 лет. Потом родилась я и выросла в этом доме на высоком берегу над коричневой холодной рекой. Дом давно сторел. Нашей деревни больше нет. Мамина квартира в пригороде Новгорода — это её дом. Моя съёмная квартира в Москве — это вообще не дом. Это обиталище. Героиня сериала «Преступление» говорит своему напарнику: «Я всю жизнь искала дом, а оказалось дом — это мы с тобой курим в вонючей машине». Мне это понравилось. Мой дом — это диалог? Мой дом — это дело? Мой дом — это моя голова? Как это, хотеть вернуться домой?

Я хотела рассказать маме о том, что происходит в Мариуполе. Но она делает вид, что ей всё равно. Просто она всегда делает вид, что ей всё равно. Очень страшно признать, что это не так. Ведь как тогда выбраться из-под развалин? Из-под того, как мы едем в машине дяди Саши в лес, чтобы там выбросить надоевшего маме кота. Он был белый, короткошерстный с чёрными пятнами. Мне было девять. Я держала кота на коленях, я не понимала, что это происходит на самом деле.

Спустя тридцать лет мой муж принёс домой котёнка. Огромная голова и крошечное тельце. Беленькая «девочка» с чёрным пятном на носу. Она постоянно будто улыбалась. У нас уже были две кошки, и я попросила мужа избавиться от малышки.

Это мы так всем говорим, что котёнок сбежал, на самом деле, это я попросила мужа вынести его на улицу в ноябре, посадить возле дыры в подвал и оставить ему миску с сухим кормом. После ужина я мыла посуду, тарелка выпала из рук и разбилась. Я схватила куртку и выбежала на улицу. Искала котёнка всю ночь. Стучалась в жилищник, умоляла открыть подвал. Оттуда сонно отвечали, чтоб я шла домой. Утром сантехник открыл подвал и сказал:

— Вряд ли ваш котёнок жив.

Я шла по подвалу, везде были кучки порошка, какого-то странного, неестественного цвета.

— Что это?

— Отрава для крыс.

Дома я распечатала сто объявлений о пропаже котёнка и развесила их

на каждом этаже того дома, у каждого лифта. Люди проходили мимо и говорили: «Это что, был дорогой, породистый котёнок? Так возьмите другого! Не жалко вам денег на вознаграждение?» Через двое суток мне позвонил мужчина, сказал, что наш котёнок у него. Мужчина выглядел таким одиноким и несчастным, когда мы с мужем забирали у него котёнка. По пути домой я прижимала едва осязаемое тельце под курткой и деловито рассуждала: — У нас ей будет лучше, веселее. У него она бы целыми днями сидела одна в квартире.

Я не могла заткнуться. Сколько раз за эти двое суток я представляла котёнка мёртвым, замёрзшим под капотом чьей-то машины. Я ведь хороший, добрый человек. Я помогаю приютам, каждый день по дороге на работу выношу дворовым кошкам корм, я жертвую деньги, волонтерю. Недавно искала хозяина коту, которого хотели усыпить. Я ведь...

Я рассказываю маме про Мариуполь.

— Города отстроят. Всё восстановят, — говорит она.

— А как же убитые?

— Мы всё равно ничего не можем сделать. Там такие силы задействованы! Ни на что мы не можем повлиять.

— Нужно же что-то делать...

— Что? Выходить на митинги, флагами трясти?

— Я не знаю. Нужно хотя бы развиваться. Нам нужно хотя бы перестать быть такими...

— Мне не нужно развиваться! Я знаю, где моя квартира, где мой огород...

— Завтра бомбы могут прилететь и в твою квартиру. Это кажется, что они где-то там, но они здесь.

Тишина.

— Ира вчера сказала, пока они отдыхали в Голубицком, постоянно летали самолёты груженные над морем. Я ей говорю: «Так ты на войне отдыхала!».

Мама ходила вчера на семейную встречу в связи с приездом родственников, которые много лет назад эмигрировали в Германию. Хорошо, что я не пошла на эту семейную встречу. Бестактность — это черта наших семей, может,

народа, может, местности. Я так и не пойму.

— Надя с Костей ехали сюда через Прибалтику, а обратно и неизвестно как. Эстония закрыла границы.

Так она для русских закрыла границы, а Надя с Костей немцы.

— Всегда Россия воевала! Зато, какая великая страна! Помнишь Чеченскую войну? Тоже всё разгромили. Теперь всё отстроили. Вон Грозный какой! У нас дома взрывали, подвалы заколачивали, нельзя было войти, лечо взять.

Я этого не помню. Я помню про Чеченскую войну только, как знакомый парень, чтобы отделаться от меня малолетки, влюблённой в него по уши, сказал, что уходит контрактником на Чеченскую войну. Его брата-близнеца контузило в Афгане, а он отслужил в мирной части. Теперь считает своим долгом, как брат побывать на войне. Я гордилась его смелостью и честью. Год я каждый день смотрела новости и делала записи. Очхой-Мартан, Ножай-Юрт, Гудермес... в тетрадке. Каждый день. Какой населённый пункт захватили, какой освободили. Теперь я понимаю, что это была такая же бессмысленная, лживая война, как и та, что идёт сегодня. И мой герой оказался фальшивым; он не ушёл ни на какую войну. Спустя три месяца я увидела его на остановке автобуса, он стоял с красивой, милой девушкой. Я проехала мимо. И продолжила делать записи в тетрадь.

Война не коснулась меня. Мне так казалось. Просто я стала такой нелюдистой. Такой быстро- и легкоранимой. Меня ранит предложение порыбачить. Меня ранит предложение подвезти. Меня ранит фраза «как умерла жена, я стал заглядываться на молодых». Меня ранит необходимость улыбаться людям и поддерживать разговор. А ведь я болтушка.

Ещё три года назад я была девчонкой. Смотрю на свои фото 2018 года — такая беззаботная. Я взяла и махнула в Сочи в декабре. Стояла в 8 утра на берегу моря одна под дождём и слушала, как скребутся друг о друга камешки под волнами. Потом я купила у единственного на всём пляже, вышедшего на работу в дождь, лавочника коктейль с клубникой. Коктейль размешался с дождём.

— Сейчас-то, что с тобой не так?

— Я старуха.

— Ну, с возрастом ничего не сделаешь.

— Но я не сильно постарела, просто глаза у меня какие-то... будто я смотрю на говно.

Война не повлияла на меня.

— А почему Юрка не ходит теперь на ваши встречи? — спрашиваю у мамы.

— Не знаю, давно его не видела.

Юрка мой двоюродный брат. Раньше мы дружили. Точнее, он был моим самым близким другом. В юности мы помогали друг другу преодолеть пиздец этого мира. Пиздец был повсюду. Он подбирался совсем близко. Атаковал с неожиданных сторон. Даже Юркин друг детства, с которым они вместе гоняли на великах, потом на моциках, ушёл на срочную службу, попал в ППС в Санкт-Петербурге и гордился тем, что на улице спокойно отбирает у людей деньги, используя служебную форму и дубинку. Родители изменяли друг другу, разводились, приводили домой каких-то невероятно убогих любовников и любовниц, заводили непонятных новых родственников. Мир сыпался просто, как в «Матрице». «Матрица» — любимый Юркин фильм, который он показал мне в 2000 году, но я ничего не поняла, возможно, из-за портвейна «777», которым он снабдил нашу вечеринку на двоих. Мы были одиночками, протестующими против пошлости, против того, чтобы жить, как родители. А теперь мы не разговариваем, он пишет, только когда нужно занять денег, мы не говорим о главном, живём не с теми, о ком мечтали. Все хотят складный быт и зарплату, и готовы праздновать до тошноты. Праздновать, и праздновать, и праздновать.

Иногда Юрка выкладывает в VK видосы. На них какой-то ужасный, толстый, раздутый, как клещ, чужой дядька с красными щеками вместо лица, сидит под зонтиком на берегу заброшенного мусором водоёма и пьёт пиво из жестяной банки. Он улыбается на камеру, потом думает, что его уже не снимают, но камера ещё долю секунды задерживается на нём, а с его лица уже падает маска, обнажая страшно измученное животное, которое просто не знает, как избавиться от жизни. Умереть страшно и жить невозможно. Я хочу вытащить из тела этого жука моего тоненького, ясноглазого брата Юрку и уехать с ним в тамбуре электрички в Питер, чтобы там бродить под снегом по пустынным улицам и молчать, потому что тут сложно что-то сказать.

— А Юрка же сейчас на море! Потому и не пришёл.

Нам нужно хотя бы не быть такими...

— Зря вы не пошли на День города, — говорит мама, — там целая площадь народа, концерт, воздушные шары, фейерверк.

Она включила прямую трансляцию по телику. Шары запускает ИП Мясникова. Моя бывшая сокурсница. На первом курсе, мы с подружкой, дурочки, курили в туалете технаря, и Мясникова написала на нас донос директору. «Они позорят честь нашей группы». Помню, как директриса вызвала нас и сказала подружке: «Ладно, *эта*, безотцовщина, но ты, Ирочка, из хорошей семьи. Как же так?» Бизнес ИП Мясниковой процветает.

Я заметила вдруг, как быстро стали устаревать стремления, мечтания, любимые занятия. Прошлой зимой полюбила лежать в ванной с пеной. Сейчас набрала ванную, налила пены, легла, через минуту вышла. Прошлым летом упоительно бродила по лесу. Этой весной приехала в лес и не хочу по нему бродить. Так хотела переехать к маме и с утра болтать с ней и пить кофе. Сейчас не хочу болтать по утрам, хочу быть одна.

Мне так важно понимать, что мне нужно, что я люблю, опираться на возможность хотя бы в будущем дать себе это. И вдруг от меня ускользают все эти мои «хочу» и «люблю».

В маминой комнате по телику громко играет весёлая музыка, ликует народ. Захожу к ней и вижу на экране, как толпа снимает на телефоны группу «Звери».

И тут меня вдруг осенило. Впервые с начала войны. Почему мне всё время так плохо. Я ничем не больна. Просто. Идёт. Война.

Лада Сёмина

Двадцать третьего февраля я прилетела в Москву из Уфы, утром было промозгло, днем омоновец вежливо подсказал дорогу, вечером слушали в соборе орган, скрипку, виолончель;

двадцать четвертого я вглядывалась в лица людей и ничего в них не находила, как-ни-в-чем-не-бывало-солнце сбивало с толку, вечером пела Земфира;

двадцать пятого я пила алкоголь еще до обеда, ходила на выставки, потому что они были в плане, очень хотела скорее вернуться домой, самолет в ночь.

Дальше я состою из одних безрассветных ночей, безвоздушных карманов, опаленной шерсти и разодранной глотки, воя, прикушенного языка — а потом все равно жизнь. Вы и сами про это знаете, мой опыт не уникален. Сейчас я его ощущаю как желейную оболочку, без дневников и не вспомнила бы. Минус на минус не дал плюс, но спустя полгода я смогла что-то написать; это все не то.

Август – сентябрь

И вот к чему мы пришли:
к отторжению органов и частей
(глазных яблок? пальцев рук? языков?),
к сбрасыванию сыпучей кожи
на — во что бы то ни стало —
оголтелое лето,
к выученной блять усталости;
а в общем-то ни к чему.
Застывшие в цементе,
в спальных районах
и уголках мест.
Бултых-бултых, завязли
так тесно,
что даже глаз больше
не в состоянии дёргаться.
Как написать отчаяние?
Плотную тишину, которая вместо всего?
Это какой-то феномен или влияние соцсетей,
но все будто живут месяцами-приливами,
с равными интервалами и одинаковой сменяемостью.
Я читала у одного писателя,
как он точно выстроил графики
(шоковый удар
шоковый разряд
шоковая заморозка):
в феврале окатило ледяной водой,
в марте — злость и от неё энергия,
в апреле — остановка дыхания
и паузы паузы паузы.
Никак не нажать на плэй.

А дальше я и не помню.

Под моей подушкой ночуют
провода наушников
и литий-ионные блоки
Прогоните хоть кто-то бессонницу!
Кошмары изуродовали подсознание,
но пока перестали
(паузы паузы —
теперь между пытками,
незаслуженная доброта).
Всё пока перестало —
внутри ни движения, ни щелчка.
Пустая пустыня, дно дна,
задворки последних окраин,
вымазанные в чёрное внутренности головы,
слепленные друг в друга
и не
различимые.
Заместо проговариваемых,
осмысляемых
чувств —
заслонка с секретом,
железный облезлый квадрат:
2. потяни на себя
1. сядь на корточки
пригнись.
Смотри обожжёшься,
смотри ослепнешь,
смотри —

а всё равно.

Последний, кажется, месяц
я душу себя углом толстого одеяла
(я всегда сплю под одеялом,
даже в жару):
угол давит на шею,
упирается в шею,

тычется мордой в шею,
точнее, это всё я сама.
Мне потом не то чтобы больно,
но я *ощущаю*.
Фрики от психосоматики
сказали бы, что я наступаю
своей песне на горло.

Из песен сейчас единственная —
«Дорогой мёртвый июль».
Дорогой мёртвый год,
не расплатишься,
не расплачешься,
не запоёшь ничьих песен
вслух.

Но сегодня была ещё музыка
посреди горелой сентябрьской черноты:
главная тема из «Формы воды»,
мелодия световых бликов
над невесомым телом.
Я мыла посуду, она зазвучала в колонке,
и я подумала: какой это год?
(2018-й, из кино выходили в мороз,
и можно было чувствовать
подводную музыку)

Очень давно.

За заслонкой уже не огонь даже — пепел.
О пепел можно обжечься?
Но так его много, что через край,
что если не заткнуть железным листом —
заползёт внутрь, и задохнёшься.
Окончательно задохнёшься —
всё равно же не дышишь.
Поэтому высохло всё,

всё перестало:
последняя суперзащита,
самая сильная из всех,
древняя магловская магия —
обнуление чувств.
Только тяжесть,
приставшая к горлу —
чтобы хоть что-то
вместо нуля
и пауз.

А большего не дано.

После вереницы бессонницкошмаровинемоты
хочется просто проснуться до начала конца,
вернуться в
до необратимости.
Трёх оборотов достаточно?

Евгения Цанова

Для меня с детства важно быть хорошей: и в своих глазах, и для окружающих. Так мама воспитала, мол, что люди подумают. В развязанной Россией в Украине войне самое страшное для меня то, что она превратила меня в монстра. Наверное, это ужасно эгоцентрично, но в мире всегда страдают и умирают люди, и я могла с этим жить. Поплакать — и жить дальше. Но вот чувствовать себя тем, кто виноват в чужих страданиях, — это оказалось самым невыносимым. Это невозможно прекратить, от этого нельзя избавиться. Кажется, что уже никогда будет не отмыться. Или не кажется — точно знаю это.

Вот чем для меня стала война в первую очередь. Она навсегда лишила меня права гордиться. Собой, своей страной, своей историей.

Мы уехали из России в самом начале войны — 2 марта. Уехали, не слишком четко осознавая причины и мотивы. Вероятно, главным было желание как можно сильнее дистанцироваться от происходящего. Но и за это я чувствую вину. Наверное, правильнее было остаться и бороться. Только жертва могла бы искупить это ощущение стыда. Но ни от моего стыда, ни от жертвы никому нет никакого прока.

Своего права на слова я тоже не чувствую. Я не свидетель, не очевидец, не участник. Всего лишь человек, который сидит в безопасности, в то время как другие рискуют жизнью и свободой. Поэтому написать я смогла лишь о том, что чувствую — о трагедии маленького слабого человека, который невольно оказался на стороне зла.



Ничего не изменилось

Конечно, он еще легко отделался. Марат то и дело встречал тех, кто пострадал гораздо сильнее — многие были обезображены до неузнаваемости. Ему же было грех жаловаться. Коллеги на работе — те и вовсе делали вид, что ничего не произошло, и он совсем не изменился. Ну что тут скажешь? Европейцы, цивилизованные люди, воспитанные.

Правда, глаза то и дело отводят — чувствуется, что им будто неудобно на него смотреть. Неприлично. Только от этого еще хуже — лучше бы уж смотрели и говорили что-то, сочувствовали или пусть даже ужасались. Наверное, от этого стало бы легче. Или нет. Марат и сам не мог понять.

Был недавно за обедом случай. Фридрих рассказал смешную историю — действительно смешную, все ржали, как ненормальные. И Марат ржал тоже. Да так, что сам не заметил, как звучит его смех — взвизги вперемешку с хрюканьем. Но заметили другие, начали замолкать один за другим. Последний всхрюк раздался уже почти в мертвой тишине. Марат попытался улыбнуться, придумать какую-то шутку, но вместо этого губы сами растянулись в звериный оскал, а из горла — он сам не понял, как это произошло —

вырвалось нечто вроде рычания. Марат встал, поспешно покинул столовую и до конца недели больше там не появлялся.

С Эльфридой они поговорили в один из первых дней Катастрофы.

— Для меня ничего не изменилось, правда, — говорила она. — Я знаю, какой ты человек, и люблю тебя не за внешность. Тем более что всё не так уж и плохо. Посмотри на бедную Ксению... Вот уж кому не повезло, — и она нежно погладила Марата по утратившему прежнюю форму носу, который теперь больше напоминал свиное рыло.

В первую неделю Катастрофы Ксения почти не выходила из дома. Когда Марат с Эльфридой пришли ее навестить, она не стала включать свет. Через щель между задернутыми шторами в комнату проникала лишь крошечная порция пыльного февральского солнца.

— Я не понимаю, как так... — растерянно говорил Марат. Даже в полумраке было видно, что от былой красоты Ксении не осталось ничего. — Это несправедливо. Уж ты-то точно ни в чем не виновата.

— Знаешь... Я не собираюсь жаловаться. По крайней мере, мы живы, наши дома целы, и нам ничего не угрожает.

Голос Ксении стал сильным, дающим. Похоже, изменения затронули и связки тоже. Марат не мог мыслить так альтруистично, как она. Ему, конечно, было безмерно жаль тех, кто лишился близких и дома из-за Катастрофы, но и себя ему было жаль не меньше. Он не мог перестать думать, что всё это ужасно несправедливо. Нет, понятно, Катастрофа, но при чём тут он? Или всё же при чём, раз тоже обезображен? Но ведь не так, как другие, не так...

— Не могу понять, как это работает, — задумчиво сказал он. — Почему кто-то изменился больше, а кто-то меньше? Например, я...

— Может, потому что ты наполовину татарин? — неожиданно сказала Эльфи, все это время тихо сидевшая на диване, с ужасом глядя на Ксению.

— Думаешь, дело в этом?

— А почему нет? Это явно что-то, связанное с генетикой. У тебя другой набор генов, и механизм, вызвавший изменения, — что бы это ни было — не сработал в полную силу. Со временем ученые обязательно разберутся. И наверняка найдут, как это исправить. Или, может, само пройдет... Например, когда закончится Катастрофа.

— А если нет? — спросил Марат. — Что если теперь это навсегда?

Эльфи промолчала и лишь утешающе погладила его по колену.

...Ксения была женщина деятельная. Уже через пару дней она собралась, заказала по интернету никаб, надела его и стала вести почти такой же активный

образ жизни, как и раньше: по-прежнему работала в своем фонде, встречалась с людьми и старалась помочь тем, кого Катастрофа лишила дома.

Впрочем, всегда найдутся желающие сорвать покровы чужой тайны. Кто-то умудрился сфотографировать Ксению, когда она умывалась в туалете ресторана, и вскоре местные паблики облетел снимок с подписью: «Полюбуйтесь, с кем вы имеете дело, когда принимаете от нее помощь или сотрудничаете с фондом “Убежище”. Такая же свинособака, как и те, что устроили Катастрофу». С изображения смотрело лицо Ксении, покрытое шерстью, с огромным свиным пяточком и торчащими из оскаленного рта клыками. Она потом говорила, что просто испугалась, когда увидела нацеленный на нее объектив камеры смартфона, но это мало кого убедило — не только черты лица, но и его выражение были как у звероподобного монстра, в котором сложно заметить что-то человеческое.

Большинство публичных фигур и средств массовой информации осудили публикацию. «В современном мире неэтично судить людей на основе таких признаков, как внешность, гражданство, гендерная самоидентификация и тому подобное. Мы все знаем Ксению Лазареву как филантропа, человека, чьи поступки говорят сами за себя», — и всё в таком роде. Но удар достиг своей цели. Фонд лишился значительной части пожертвований, а пострадавшие, если была такая возможность, предпочитали обращаться в другие благотворительные организации.

...Прошло пять месяцев с начала Катастрофы. Марату всё труднее было убеждать себя, что его жизнь осталась прежней. Эльфи была мила, но он не мог вспомнить, когда последний раз она ложилась с ним в постель. В том числе, в прямом смысле. Сначала она говорила, что он стал слишком громко храпеть — видимо, сказались перемены в строении носоглотки, — и им обоим будет удобнее, если она немного поспит на диване в кабинете. Потом призналась, что каждый раз пугается до чёртиков, когда во сне задевает его колючий шерстяной хвост. Тот будто жил своей жизнью и время от времени принимался дергаться, бить по кровати. Наверное, когда Марату снилось что-то... тревожное.

Марат не мог осуждать Эльфриду. Он и сам, признаться, иногда ловил себя на том, что переходит на другую сторону улицы, издали заметив деформированное лицо с пяточком или мохнатыми ушами. У некоторых они печально свисали, у других — стояли торчком. Не то чтобы он их боялся, но просто... Неприятно же смотреть на такое. Его-то облик остался гораздо ближе к человеческому, чем у остальных, кто изменился в ночь, когда началась Катастрофа.

Он попробовал обратиться к психотерапевту. Тот выслушал его с профессиональным вниманием на умном, без малейших признаков мутации, лице. Видимо, примеси неправильной крови в роду у доктора не было. Когда врач заговорил, в его голосе слышалось непритворное сочувствие. «Хороший человек, повезло», — подумал было Марат.

— Безусловно, ситуация, в которой вы оказались, является очень травмирующей. Тем более, с учетом всех обстоятельств... Чувства стыда и вины из-за принадлежности к определенной группе, при невозможности что-либо изменить, — с этим сложно справиться самостоятельно...

— Но я не чувствую вины! Я ничего не сделал! — прервал его Марат. Он почувствовал, как к лицу прилила кровь, а прижатый джинсами хвост дернулся, будто пытаюсь прижаться к земле. — Я просто пытаюсь понять, как теперь с этим жить.

Психотерапевт откашлялся.

— Мы, конечно, можем проработать с вами эту ситуацию. Обсудить, что для вас значит произошедшее изменение. Но возможно, сейчас было бы правильнее сменить обстановку. Например, побыть там, где вас будут окружать люди, которые тоже подверглись мутации. Предполагаю, что общение с теми, кто имеет опыт, аналогичный вашему, могло бы быть целительным.

— Вы предлагаете мне уехать... на Родину? Но я живу здесь уже пять лет! В конце концов, я и сам их боюсь! — голос Марата дрогнул, сорвавшись на визг.

Доктор примирительно поднял ладони перед собой:

— Я просто предложил рассмотреть такой вариант! Возможно, если вы окажетесь среди тех, кто тоже подвергся мутации, вам будет проще глубоко проработать проблему... так сказать, внутри сообщества. Необходимо провести анализ внутренних и внешних факторов, которые привели к Катастрофе и к мутации, разобраться с причинно-следственными связями. Вызвала ли Катастрофа мутацию? Или, может, наоборот? Или одни и те же факторы вызвали и то и другое? Сторонние наблюдатели, такие, как я, вряд ли могут быть в этом очень полезны.

— Я вас понял, доктор. Спасибо, — сказал Марат и ушел.

...Стемнело, а Эльфрида всё еще не вернулась. Она теперь часто задерживалась. Он прошел в кабинет. Остановился на самой границе полосы света, падавшей из коридора. Перед ним стояло прислоненное к стене зеркало. Раньше оно висело в спальне, но Марат снял его в первые же дни, когда началась Катастрофа. В ванной тоже. Эльфрида ничего не сказала, просто забрала зеркала в кабинет.

Зеркало отражало силуэт, ничем не отличавшийся от человеческого. Хвост спрятан под свободными брюками, вместо лица — темное пятно.

Он подошел к окну. В доме напротив, в ярко освещенных гостиных и спальнях, люди жили обычной жизнью. Ни у кого из них не было видно ни рыла, ни шерсти на лице, ни других признаков мутации. Марат почувствовал, как нарастает злость. Может, в других мутантах и было что-то неправильное, но он-то почему? Он был таким же, как люди там, за оранжевыми окнами. Он не сделал ничего плохого. Всегда старался поступать правильно, принимать правила общества, в котором жил. Что у него может быть общего с теми, кто сейчас в тысячах километров отсюда воеет, хрюкает и рвет когтями свои жертвы? Это несправедливо, что он должен выглядеть так же, как они...

В небе повис диск Луны, покрытый грязными пятнами и подтеками. Смотреть на него было приятнее, чем на людей за окнами. Марат разглядывал Луну и сам не заметил, как начал выть. Сначала тихонько, почти скуля, но постепенно звук нарастал, в нём появлялись новые оттенки и обертона. Марат уже не мог остановиться, им овладело странное, ранее незнакомое наслаждение. Вой несся над спящим городом. Вой поглощал Марата, не оставляя места для сомнений и мыслей. Марат перестал чувствовать свое тело, его больше не было, он сам стал воем. В окрестных домах начали с грохотом захлопываться окна.

«Для меня с детства важно быть хорошей: и в своих глазах, и для окружающих. Так мама воспитала, мол, что люди подумают. В развязанной Россией в Украине войне самое страшное для меня то, что она превратила меня в монстра. Наверное, это ужасно эгоцентрично, но в мире всегда страдают и умирают люди, и я могла с этим жить. Поплакать — и жить дальше. Но вот чувствовать себя тем, кто виноват в чужих страданиях, — это оказалось самым невыносимым. Это невозможно прекратить, от этого нельзя избавиться. Кажется, что уже никогда будет не отмыться. Или не кажется — точно знаю это. Вот чем для меня стала война в первую очередь. Она навсегда лишила меня права гордиться. Собой, своей страной, своей историей.

Мы уехали из России в самом начале войны — 2 марта. Уехали, не слишком четко осознавая причины и мотивы. Вероятно, главным было желание как можно сильнее дистанцироваться от происходящего. Но и за это я чувствую вину. Наверное, правильнее было остаться и бороться. Только жертва могла бы искупить это ощущение стыда. Но ни от моего стыда, ни от жертвы никому нет никакого прока.

Своего права на слова я тоже не чувствую. Я не свидетель, не очевидец, не участник. Всего лишь человек, который сидит в безопасности, в то время как другие рискуют жизнью и свободой. Поэтому написать я смогла лишь о том, что чувствую — о трагедии маленького слабого человека, который невольно оказался на стороне зла.»

— Евгения Цанова

p\a\z\n|i\ц\ьi: У вас получился очень острый текст, прозвучал голос тех, кто сейчас онемел от внутреннего противоречия. Вам удалось преодолеть, вырваться из него к сегодняшнему дню? Или это только время лечит?

Евгения Цанова: Мне кажется, этот внутренний раздор с каждым днем становится только острее. Хочется все больше оторваться от той части себя, которая имеет отношение к ужасам происходящего, к тому, что делается от имени народа, к которому я, к несчастью, принадлежу. С другой стороны, никак невозможно отречься от того факта, что я россиянка, что я прожила в этой стране всю жизнь, что почти все мои родные и близкие — русские. Когда русских клеймят за трусость, пассивность, бездействие, мне одновременно хочется присоединиться к этой критике и кинуться на защиту себя и других. Эта двойственность разрывает.

р\: Но ведь человек не может 24/7 существовать в этом неврозе и сохранить при этом психику. Вы нашли какую-нибудь лазейку, в которую можно спрятаться от самого себя, хоть на время?

Е.Ц.: Да, безусловно. Мои рецепты банальны: как можно больше красоты. Слава богу, сейчас я нахожусь в месте, где она на каждом шагу, — в Черногории. Вечером иду с работы длинным путем мимо моря, сажусь на берегу и смотрю на закат. Или еду в горы на выходных. Иногда удается утонуть в хорошей книге. Вообще, новое место имеет целительный эффект: новые знакомства, заботы, связанные с обустройством быта, игры и занятия с ребенком, работа. Все это позволяет как можно меньше рефлексировать.

р\: В Черногории вы наверняка контактируете как с украинцами, так и с бывшими соотечественниками. Чувствуется ли напряжение? Как относятся к тем и другим беженцам местные?

Е.Ц.: Здесь напряжение минимально, если честно. Местные вообще едва ли видят разницу между россиянами и украинцами. Если и есть разница в отношении, то они ее никак не показывают. От черногорцев часто можно услышать общий термин «русы» применительно ко всем нам. Однажды я не выдержала и поправила в разговоре черногорку, которая назвала украинцев русскими. На это черногорка отмахнулась от меня со словами «это неважно». А мне всегда от таких слов немного не по себе — не могу не думать, что украинцам было бы неприятно это слышать. Между собой здесь россияне и украинцы (а заодно и белорусы, и казахи, и другие выходцы с постсоветского пространства) чаще всего общаются спокойно и без неприязни. Например, по воскресеньям в Тивате проходят традиционные женские завтраки. В них участвуют все вперемешку, без разделения по гражданству и национальности. Мы полтора месяца жили в соседних квартирах с семьей из Одессы и очень по-дружески общались, наши дети играли вместе. Иногда я слышу про враждебное отношение украинцев к россиянам, но сама лично ни разу здесь с этим не столкнулась. Наоборот, за месяцы жизни в Черногории я сблизилась и даже подружилась со многими украинцами. Вероятно, те, кто испытывают неприязнь к обладателям красного паспорта с орлом-мутантом, просто избегают подобного общения. Я испытываю признательность и уважение к тем украинцам, кто находит в себе силы общаться с нами дружески или нейтрально. Не знаю, как бы я себя чувствовала и вела на их месте. Говорят, в первый месяц войны напряжения было больше, возникали и личные конфликты, и агрессия в отношении машин с российскими номерами. Но, повторяюсь, я ни с чем таким не сталкивалась.

р\: Этой женщине вы могли бы ответить: «ну да, какая разница, черногорцы, сербы, косовары... все вы югославы». Так же многие европейцы думают о восточных азиатах, индейцах или чернокожих — а, какая разница, все они с песьими головами. На эту же мельницу льет воду путин, однако уже не «про них», а «про нас» — да-да, мы все русские, включая печенегов и половцев, которые на нас напали, и китайцы братский народ, вернее, нет никаких китайцев, ведь это просто калмыки-сепаратисты, а калмыки — русские! (тут сложно не вспомнить эпический финал «Ширли-мырли»).

Но все же каждый человек, имея в голове информацию о том, что нации сконструированы более-менее 200 лет назад, должен ответить себе — почему он черногорец, украинец, русский? Почему он так решил? Язык? Половина мира говорит на английском, половина на испанском и еще одна половина на арабском, остальные две трети на китайском. Паспорт? Ну нет. Родина? Как-будто теплее, но где ее границы? Почему родина, это страна, а не город, или галактика, или улица, или планета, или комната? А может ноутбук, или родные люди? Почему за действия одного мудака, я должен стыдиться своего... и вот вопрос — чего своего?

Е.Ц.: Понятие родины и национальности стало для меня очень призрачным в последнее время. Но все же ощущение принадлежности к условной группе русских есть. Оно выражается в том, что когда кто-то говорит обо всех россиянах разом, я воспринимаю это на свой счет. Я хочу спорить и защищать — наверное, в первую очередь саму себя — когда говорят, что нет хороших русских. Моя жизнь связана с Россией через общий с каждым русским человеком культурный код, и от этого никуда не деться. Но когда я читаю или слышу высказывания многих россиян сейчас, оправдывающие войну и действия России, мне хочется отречься от своей русскости раз и навсегда. Кажется, что это не то что люди другой национальности, а иного биологического вида.

р\: Вот, т.е. первый способ обнаружить национальность, когда кто-то припечатывает вас, вешает ярлык. Но это же ложная идентичность все равно, что согласиться причислить себя к козлам, слыша декламацию «все мужики козлы».

Второй способ более релевантный, но, опять же, мимо русскости — наш культурный код разделяет множество «национальностей», собственно все русскоязычные планеты, которые совершенно необязательно «русские».

Культурный код, это же про язык?

Или это что-то большее? Или, наоборот, меньше?

Е.Ц.: Первое, о чем я сказала, это не способ, это, скорее, маркер. Если я чувствую, что когда говорят о русских, то при этом говорят и обо мне тоже, если я принимаю это на себя, значит, я — русская. Я не знаю причин этого чувства. Мне кажется, вопрос национальной принадлежности — это исключительно вопрос самоощущения. Я чувствую, что я часть этой общности, — этого достаточно, вопрос рациональности, мне кажется, здесь ни при чем. Что касается культурного кода — это не только и не столько язык, скорее, совокупность всей культурной информации, воспринятой за жизнь. Книжки, которые читали в детстве, фильмы, мультики, песни. Огромный кусок всего этого общий для меня и других жителей России, да и многих других стран постсоветского пространства. Когда я говорю «каждый год 31 декабря мы с друзьями ходим в баню» или «скажи-ка, дядя, ведь недаром», и собеседник понимает, о чем я и откуда это, значит, скорее всего, мы находимся в одном пространстве смыслов. Это, конечно, не значит, что мы оба русские, вполне возможно, он татарин или казах. Или даже — пока еще — украинец. В этом смысле границы «русскости» очень размыты. Наверное, в результате территориальной политики СССР, да и Российской Империи до этого, в большом количестве людей есть что-то условно «русское» или я не знаю, как это еще обозначить.

р\: В том-то и дело, «русский мир» ненавидит коллективный запад, которого не существует совсем, тот, в свою очередь, ненавидит «русских», которые суть облако тэгов, среди которых нет национальности, и все это превращается в войну зонтиков, причем непонятно в чьей голове. СССР больше нет, в этой аббревиатуре нет ни одной буквы, за которой крылось бы что-то «русское». При этом львиная доля культурного кода, о котором вы говорите, именно советская. И даже наследие Российской Империи мы имеем прокрученным через мясорубку советского наднационального проекта. Тем не менее вопрос национальности для вас стоит остро, поскольку вы построили текст на том, что именно национальность героя сыграла свою роль.

Е.Ц.: Для меня дело не в национальности как таковой. Я знаю многих россиян, которые, например, живут уже 10–20 лет в какой-то из стран Запада, и сейчас они не ощущают, что они часть этой трагедии. Они сочувствуют украинцам, осуждают Россию, но это не их беда и не их война. А другие, даже много лет живущие в других странах, выбирают сторону, оправдывают действия российских властей или чувствуют стыд, как будто сами участвовали в происходящем. Мой рассказ не про национальность, она лишь предлог поговорить о той смеси чувств, которую сейчас испытывают многие, в том числе и я: стыд и вина за то, что стали частью зла, пусть и невольно,

и одновременно обида на остальной мир за то, что нас осуждают, не принимают, создают препятствия. Это жуткое противоречие: да, я вроде виноват, но, вообще-то, я не так уж виноват, так за что же вы меня так? Вижу, что некоторые ищут спасения как раз в этнических корнях. Сейчас часто можно услышать: «Вообще-то, у меня бабушка украинка» или «Я не русский, а татарин, еврей...», you name it. Хотя еще недавно люди не считали нужным это уточнять и не отказывались быть русскими «по умолчанию». Герой моего рассказа тоже делает это. В общем, думаю, нам еще долго придется распутывать этот клубок. Можно отказаться от национальности вообще, сказать, что у меня ее нет, но в реальности это так не работает.

р\: А хотелось бы, чтоб работало? Кажется, что естественным образом цивилизация движется к отмене национально-этнических различий, с другой стороны, в культурном поле эти различия лелеют и оберегают, хотя самим деятелям культуры это совершенно не нужно и зачастую мешает. Давайте округлимся так — нужны ли нам национальные различия?

Е.Ц.: Мне кажется, это вообще не вопрос чьего-то волевого решения. Человек так устроен в результате эволюционных процессов, что ему нужно осознавать свою принадлежность к какой-то группе. Мы выжили и так размножились именно за счет пребывания в группах, без них нам нечего противопоставить опасностям этого мира. Пока ситуация такова, что именно принадлежность к нации — самый простой способ ощутить свою общность с другими людьми. Но мне думается, что если человечество выживет примерно в том же формате, который существует сейчас, то на смену общностям по национальному признаку придут общности на основе чего-то другого: интересов, мнений, профессий, языка. Уже сейчас многие сообщества наднациональны по своей сути. Во многих странах формируются сообщества, скажем, IT-шников, которые говорят на английском, или русскоязычных, независимо от национальности и гражданства. Но это происходит естественным путем. Не нам это решать. Главное, чтобы ничто слишком радикальное не встало на пути этого естественного развития.

Ксения Букша

Меня зовут Ксения Букша, я автор многих текстов. Обычно я жила в Санкт-Петербурге, а сейчас живу в Херцег-Нови (Черногория) со своими детьми. Давно не приемлю войну, массовые убийства и репрессии. По-прежнему пишу разнообразные тексты.

возможно, что
возможно что мы уже не живые
но и не мёртвые: неживые
прилипли к этой черте
ни ангелов ни чертей

*

возможно, что мы уже не очень-то живые
но время к нам возвращается полуживое
время как маленький ветер
не дует, незачем дуть

*

может, мы уже померли, я не знаю
может я превысил скорость и покидая
прохладные страны предсмертия видим горы
заплывшие синим туманом и чувствуем запах гари

*

запах гари после аварии или взрыва
длится долго даже если очень сильный ветер
и его никуда не сносит и длится крик
так как время ушло

*

время подтаяло как ледники на склонах
течёт сползает
смотри как оно уже вместе со смертью
смотри как время слиплось стеклось со смертью

*

я обещаю. мне не страшен этот сон. но как вернуться?
никто не скажет, все уже мертвы
белеют листья над скамейкой липкой
и белый мир съезжает /под черту

старый баллон
тёмно-синий мой
пуст
шарики густо гремят
он/ писал ХУТИН ПУИ
писал/ ВЫБИРАЙ
писал/ НЕТ ВОЙНЕ
и это казалось надёжно вполне
так (шли себе да и) шли молодые года
казалось так будет
всегда
казалось я и мой маленький страх
шагаем плечо к плечу
казалось что мы такая команда
которой всё по плечу
и ветер волосы шевелил
и снег расширял глаза
и мой/ старый баллон
хуярил/ питерский блюз
казалось — это в руках
казалось — это во сне
надёжное ХУТИН ПУИ НЕТ ВОЙНЕ
ВЫБИРАЙ
а оказалось что это я
писала сама на себе
и смерть идёт в города
и смерть покрасила всё что я
писала сама себе
кровью и темнотой

гора кустов/ где всё горит
кусты горят все сразу, много
одной толпой горят/ сгорают
так нам, грят, нравится
гореть на корточки присев

от нас останется огонь/ и мы как цветики цветные
цветём огнём/ где всё горит/ толпой
гудим и пьём/ густой и мощный дым
мы тянемся по дереву огня
в зелёное огнём потраченное небо
кочки огня они как зелени кочки
горим — и хор/ горим — вступаем
а помнишь, тот за нас горел и не сгорал
а мы горим и за него сгораем
сгораем все за всех

разломанные куски бетона
лезут в море, на них железные ушки
двое, лет по шестнадцать, сидят на одной из
бетонных плит
моря прозрачно тянется бледная солнечная вода
он говорит: вот, придумал рассказ
типа двое, лет по шестнадцать, встретились здесь
он говорит что он из
а она говорит что она наоборот из
но на самом деле оба врут
на самом деле он из
но ему стыдно, что ему шестнадцать
а он уехал с мамой
надо было остаться быстро стать восемнадцатилетним
и воевать
а она на самом деле из
но ей тоже стыдно потому что
но оба догадываются
но из уважения не
вот такой рассказ вот такой
мог бы получиться рассказ
а чем кончается? чем кончится?
кончится-то как всегда как всегда
но мы-то не можем
(смотрят вдаль. прозрачная вода горит пустотой)

нас хренова туча и мы как мухи
прилипли друг к другу
набились в коробки под красным небом
у нас жар
и каждый из нас тот самый
каждый из нас стоит перед стеной леса имён
и каждый сидит перед тарелкой
дымящейся каши/ перед экраном
перед горой имён городом имён
нас хренова туча и мы как мухи
на стекле жаркой веранды
залипшие под газетой и на липучке
нас хренова туча и мы своей сердечной общительностью
липнем друг к другу
как к луже кваса на горячем асфальте
как к палочке от мороженого
у нас великий жар
каждый из нас опустив руки
стоит перед стеной горящего леса
перед стеной заснеженного леса
что скажешь зима жара
встающая перед нами стена ледяная гора волна
что скажешь теперь куда
я красил гору я поставил огонь
нас многие множества мы как мухи
на нас огонь мы поймали огонь
лицом к стене без имён и стена не
станет лицом

такая вот, значит, картина:
в стену вбит гвоздь. на гвозде висит картина
в рамке. линия горизонта
дом написан как нетронутый
на первом плане красная фигура

немного размазанная/смазанная
но всё ещё похожая на человека
однако вдруг раз
и замечаешь
что на самом деле
здесь изображено отсутствие человека
дыра на месте человека
вмятина человека
и все начинает шататься:
нет горизонта нет дома
рамки нет и нет гвоздя
а так, расползается
пятно
даже не по стене / и стены-то нет
а прямо по воздуху или даже под веками
втягивает переваривает
тебя, кто смотрит

Алена Кирсанова

До конца ноября я жила в России, и война раздвоила мой мир. Он мерцает, сбоит, картинки накладываются одна на другую. Нет, сначала все было просто — кошмарный сон, слишком безумный, чтобы продлиться долго. Но он длится, и длится, и длится. Понемногу вернулась рутина, догнали дедлайны и обязательства — и вот я живу, кормлю кота, варю кофе, радуюсь мелочам, и кажется, все у меня нормально. А потом читаю новости, смотрю фотографии из Украины и возвращаюсь в реальность после 24 февраля. Эта реальность играет жанрами: то драма, то абсурд, то хоррор, — и я тоже ищу свой жанр и ракурс, чтобы ее описать.



Сантехник не уйдет

Уходить он не собирается, но ты этого еще не поняла. Стоишь в дверях кухни, улыбаешься. Может быть, чаю? Сама даешь ему повод задержаться, делаешь вид, что все под контролем. Да, ты уже догадываешься.

Чаю? А че, он-то всегда за! Падает в твое любимое кресло у окна, делает маленький глоток из прозрачной чашки, морщится — горячо. А есть че к чаю? Не дожидаясь ответа, лезет в хлебницу, достает овсяное печенье из коробки, крутит в руках и кладет обратно. Ты пытаешься запомнить, какую печенку он потрогал — крайнюю справа? — но решаешь не мелочиться и выбросить всю пачку.

Он шутит над обезжиренным молоком из холодильника (он пьет чай с молоком, запоминай) и советует тебе поправиться килограммов на пять: уж больно ты тощая на его вкус. Допив чай, выходит на балкон покурить. В открытую форточку заползает вонючий дым, и ты благодарна, что он не закурил прямо на кухне.

Весь день он смотрит телевизор. После новостей на Первом начинается праздничный концерт. Сантехник делает громче, замечает, что тебе неприятно, и со смехом выкручивает звук на максимум. Сквозь рев военного оркестра тебе едва удастся услышать настойчивые звонки в дверь. Открываешь, извиняешься перед соседкой, врешь, что в гости приехал дядюшка из деревни и он глуховат. Соседка грозит вызвать полицию, но эта перспектива тебя больше не пугает.

Никакая полиция, конечно, не приезжает. Он ложится в твою кровать, ты надуваешь себе старый резиновый матрас. Ему кажется смешным при любом удобном случае звать тебя в постель. Ты не реагируешь, а он не настаивает. Могло быть и хуже.

Через три дня кран снова начинает течь, и ты просишь сантехника его починить. А он говорит, тебе только кажется, ничего не течет. Ты возмущаешься, ставишь большую миску под закрытый кран, и через десять минут она наполняется до краев. Вылив воду в раковину, сантехник машет пустой миской у тебя перед носом и советует показаться врачу. Что бы ты без него делала, такая непутевая, спрашивает он, поглаживая тебя по голове.

И ты соглашаешься пойти к врачу. Кладешь в рюкзак паспорт, смартфон, банковские карты, зубную щетку и сменные трусы. Оглядываешься в последний раз, запоминаешь каждую деталь. Уже в дверях он тебя догоняет. Снимает рюкзак со спины, вытряхивает вещи на пол. Осмотрев каждую, закидывает обратно, а сверху кладет пачку овсяного печенья на дорожку: нельзя тебе голодать, и так слишком тощая.

Ты просыпаешься в своей постели. Никакого сантехника в ней, конечно, нет. Ты с удовольствием тянешься, хрустишь позвоночником, уставшим от надувного матраса, берешь с тумбочки телефон. Очень странный был сон, обязательно обсуди его с психотерапевткой.

Ты листаешь фотки в инстаграме, когда в соседней комнате включается телевизор. Первый канал: ты не смотрела его много лет, но узнаешь моментально. Натянув домашние штаны, крадешься к двери, открываешь ее очень тихо, но он замечает. Завари-ка мне чаю, подруга. С молоком, ты же помнишь?

Ты просыпаешься в своей постели. Телевизор молчит. Выходишь в гостиную — никого. Завтракаешь в тишине, смакуешь каждый глоток кофе. Помыв за собой чашку, выбрасываешь нетронутый пакет молока и пачку овсяного печенья. Кажется, на кухне попахивает сигаретным дымом. Ты выглядываешь в окно и вздыхаешь с облегчением: просто какой-то дед курит на соседнем балконе.

Полдня проходит в восхитительном безделье. Ты читаешь книжку, дремлешь на диване, наблюдаешь, как по небу ползут облака. После обеда раздается звонок в дверь. За ним следующий. И еще. И еще. И еще. Не открывай! Ты не вызывала сантехника, помнишь? Ты никого не ждешь! Но ты идешь открывать, а может быть, просто посмотреть в глазок. Уже неважно: ты не успеваешь добраться до коридора, оттуда раздается металлический визг и грохот. Дверь распаивается, повисает на одной петле, на фоне тусклого света из подъезда ты видишь его силуэт.

Он выглядит моложе, чем раньше. Одет во все черное, на ногах скрипящие берцы. Под светлой щетиной — розовые сытые щеки. Он — довольный младенец, выпивший из матери все молоко. Ты отступаешь в сторону, пропуская его в гостиную, а потом бросаешься к выбитой двери, дергаешь на себя, но она не поддается. Ты дергаешь снова, но он уже рядом, хватает тебя сзади, бросает на пол, прижимает коленом. Тощая, говорит. Легкая, как пташка. Не рыпайся, говорит. Я тебя, если что, одной левой. А потом треплет твои волосы и отпускает — куда ты теперь денешься? Ты отряхиваешься, срывающимся голосом говоришь, что опаздываешь к врачу. Он не против. Ты собираешь рюкзак, кладешь паспорт, смартфон, банковские карты, зубную щетку и сменные трусы. Он наблюдает за тобой, потом аккуратно берет рюкзак из твоих рук и выходит с ним на балкон. Ты видишь, как вещи летят вниз с четвертого этажа, слышишь звук, с которым телефон разбивается об асфальт. Он бросает пустой рюкзак тебе в лицо и с наслаждением закуривает. Зажарь-ка мне картошки, подруга. Жрать охота.

И ты жарить ему картошку, достаешь из мусорки молоко, завариваешь чай. Вечером ты надуваешь в гостиной матрас, но он с улыбкой качает головой и кивает на спальню, показывая рукой неприличный жест. Тебя подташнивает, ты говоришь, минутку, и уходишь на кухню. Осторожно перелезаешь через перила, рядом — соседский балкон, где курил дед. Один хороший прыжок,

зацепиться руками и подтянуться. Дальше будет неловкий разговор, попытки хоть что-то объяснить, но это уже не страшно. Ты слегка покачиваешься, разогревая мышцы, а он зовет тебя из кухни. Медлить нельзя. Ты прыгаешь, нога касается соседского карниза, а пальцы — перил, но ты поскальзываешься и летишь вниз. Видишь на асфальте осколки телефона, предчувствуешь хруст своей разбитой головы и понимаешь: это тоже выход.

Ты просыпаешься в своей постели. Телевизор молчит. Выходишь в гостиную. Он сидит на диване и курит, прихлебывая чай с молоком. Сам заварил, даже не стал тебя будить. Вот видишь, а могло быть и хуже.

Федор Сваровский

К сожалению, в процессе создания номера с Федором случилось несчастье, написать о себе ему не позволяет состояние здоровья. Редакция очень признательна Федору за предоставленную подборку и желает скорейшего выздоровления.

— p\a\з\н\и\ц\ьi

ЛОМ

грохот сверчков ночью
соответствует толпам планктона в горячей и черной
они напирают в жидком
покое

ничего наши
ежи в саду практически противотанковы
у кота есть два бабочковых пистолета
мы потеем и
просто так не сдадимся

по словам комаров
внутри золотого отрезанного от родины одного
яйца
в черном аккуратном бархатном
футляре хранится десятиметровая игла

ребята, это и есть лом
для зада полковника

В КОНЦЕ МАЯ

тьма
порыв ледяного выдавливает окна балконов
предметы трещат
камни бьют в рукава
женщина по колено в воде бежит за собакой домой
прямо из воздуха вываливаются провода
выпадает белый мотоциклетный шлем

вспышка
вспышка

между строениями по воздуху
движется огромный седой

мужик
с телевизионной антенной
прижатой к груди

грохот
идет
за ним

ЖАВОРОНОК

воспоминание это
как вон тот снаряд
летевший сюда и застывший теперь в середине неба
наподобие жаворонка в жаркий день

даже слышится жаворонок
жужжание шорох гудение ветер
тихое радио часы на буфете
а также разнообразное пение
всяких других птиц

КАК ОНИ МАЛЫ

1
однажды ночью в лесу
когда жарили зефир на огне

как будто я утонула но
кто-то меня спас

2
не белки но руки
бегут в темноте по мокрым ветвям

не ежи воруют печенье но
окровавленные бронеежи ломают лес

3

смотри на мои ноги как
они малы
на мои щеки как
они малы

4

действительно четыре с половиной — от
силы пятый размер ноги

подрасти

и

5

спасу тебя от живых мертвецов
спасу от мертвых мертвецов

Ольга Фатеева

война — там.

а здесь как будто в сточной воде. сегодня я присела в ванной смыть шампунь под краном. серой воды скопилось почти до щиколоток, туда же упала и расплзлась пена с волос. красноватые завихрения выплыли из-под меня, когда я открыла глаза, — менструальная кровь замылилась. сток в нашем старом доме вдруг разошёлся, и всё слилось. а потом снова.

в гулком одиночестве родительской квартиры посреди всхрапывающего сна мамин голос: посуду помой. и потом: разлетались тут. — кому она? — и ещё: муршмулируй!

не здесь война, но она сочится.



КАЖДЫЙ ДЕНЬ ДЕНЬ

мирная героиня войны

какое лицемерие продолжать жить и жить вместе. хочется вернуться. её зовут Аля, мало ли на свете, кто узнает себя. её родила война вдали от войны.

предлагаемые обстоятельства производят героев, сюжеты, конфликты, обслуживая клубящиеся смыслы. взаимодействие обстоятельств со словом затруднено, на большем протяжении разрушено, взорвано, как железнодорожные пути партизанами. чуть выложат одноколейку — сообщение восстанавливается, но часто лишь затем, чтобы вновь передать в обе стороны неизбывность, тупик и вынужденную безъязыкость.

если закрыть глаза и сдать себя тягучему молчанию, из роя несвязных, оборванных на полуслове историй вылепляется моя Аля. она настойчива и требует места. у Али муж и она сама. с мужем раскол. Аля охрипла от споров, от слёз и перестала разговаривать с мужем.

она хранит себя в стороне и заводит постмодернистскую игру: себя именует безлично, инфинитивы, чтобы род не прокрался в глаголах, а к нему обращается во втором лице в настоящем времени, без имени.

она хочет вернуться. опять в начало.

я хочу вернуть. ей не обойтись без меня в тексте. Аля рождается из сочетания любого хаоса, до которого ей не должно быть дела, далёких взрывов и убитых тел, предчувствий, которые боишься оформить, и общего безмыслия,

разлитого в воздухе. войны в мире не прекращаются ни на минуту.
Аля коллекционирует их, это бодрит.

ты, конечно, будешь против. как и вчера, ты силишься смотреть в глаза.
направляешь мысли поймать глаза, чтобы попросить. всё, что у тебя осталось.
выковырять глаза — навязывается образ — ложечкой, но ложечка не поможет,
да и не потребуется, если есть расширитель для век и глазные ножницы.
у неё есть.

надо вернуться и возвращаться каждое утро к началу. она заставляет себя
проживать и повторять чувствования, это всё, что ей остаётся. безбрежная
печаль наполняет воду до горизонта и спадает за него — сила испытаний,
отдалённых от начала и пережёвываемых регулярно, замедляется
пропорционально регулярности.

память подводит, на что же ещё нужен дневник — его первая и главная
задача. каждое утро ты просишь бумагу и карандаш. молча, глазами.
не попадать в глаза. дневник не твой. написанный за тебя, наполняется новыми
знаниями и подробностями. а глаза съест кошка. или извлечь.

перемежающиеся капли дождя, как перемежающаяся хромота, хромают —
приземляются на разные поверхности и нанизывают многоголосый ритм.
здесь ты беспомощен, не знаешь города, и разглядеть с носилок в машине
ничего не мог, окна задёрнуты. дождь успокоил ветер, море пустое, без волн,
только вспучено множеством бьющих сверху капель.

кажется, она/я запуталась: больничный августовский парк за
странноприимным домом Шереметева, на который я смотрю из окна морга —
я просто здесь работаю, ничего личного — написан на изображении
маленького курортного городка на Балтийском побережье. или наоборот,
курхаус, тучные — всегда здесь такие — тучи, ветер с солью, сосны и песок,
который жители приносят на подошвах и рассыпают по городу и в кукольных
домах, — поверх. здесь август уже в начале набит яблоками и листьями, там
буруны катят через волнорезы. палимпсест. Аля уехала из Москвы, не работает
— сбережений хватит до конца света, а он близко, Аля его ждёт.

ложиться в одну кровать с тобой, где ты уже спишь, двигать тебя, не можешь
сам — простыня, сбившаяся тебе под ягодицы и спину, горяча и неприятна.
кожа ждёт лёгкого озноба от дотрагивания постели, а получает — при передаче
— невразумительное тепло, как остывший чай. горячий вкуснее.

Аля засыпает под утро, чтобы вскоре встать.

теперь ты слушаешь сводки не из телевизора: можно рассказывать,
что уютно, в 1/4 части немецкого дома, снятой задорого, телевизора просто нет.
Аля пичкает его фотографиями. и картинками. мировая коллекция ужасов,
Аля питается ими. ты закрываешь глаза, на это хватает мощи, веки опускаются
под собственной тяжестью. а вот уши доступны всегда — и Аля говорит,

говорит, пока не устанет, включает эфиры, трансляции, ролики. мне можно ничего не объяснять, теперь я могу просто зачитывать новости.

тебя пощадят как инвалида, не сомневайся. ты знаешь это со слов, и знание унижает тебя. кошку вывезти было сложнее, а с тобой все носились, предупредительно спрашивали.

она моделирует чужое знание и имеет власть. город в больничном парке — я смотрю из окна морга, я здесь работаю, ничего личного — и город с ветреным морем празднуют смерть: рестораны и кафе переполнены исключительно все, стоят очереди. август запах осенью, ещё не начавшись.

она убила хозяйку и закопала в саду — никто не придёт нас искать. потому что она может. так Аля ему говорит и наслаждается словами. он верит, хотя хозяйка в отъезде, регулярно платит по счетам за свет, воду и отопление. Аля включает горячую себе. твоя трахеостома выдаёт пузыри — слегка поскрипывают, налезая друг на друга. это удобно — сохранить дыхание, лишит речи. руки твои — тихие палочки с бурой иссохшей кожей, в них ничего не держится и никого не держит. дни твои конечны, но не сейчас.

сейчас она будет его мучить, ежедневное занятие на весь день.

утром многослойный высокий парик, она ходит в нём дома — посреди сырых гниющих досок, мокрых стен, испещрённых плесенью. блеск разложения. себе она постелила на широкой кровати рядом с печкой, его отнесла в дальнюю комнату без обогревателя на зауженную, обрезанную кушетку. еду из города разогреть на очаге, его питательных смесей, если не экономить, хватит на месяц. она большая искусница и мастерица — научилась рассчитывать, чтобы тянул подольше и не умер.

прошлое здесь, в одной комнате с нами. она так и живёт — в один день со всем случившимся сразу. ускоренные курсы — [нужное подчеркнуть] — война за один день. онлайн, по зуму, коллективный чат, комментарии преподавателей.

твой рак окончательно вознамерился съесть тебя. Аля не бросит, это же любовь. по крайней мере, снаружи так выглядит. задача: остановить, замедлить, задержать. беспомощность развивает в противоположных партнёрах силу. мягкое давление и всевластие. кольца смертельными ободками впечатались в пальцы, браслеты звенят. на выход. набережная пуста.

завтрак у постели больного. она сервирует столик на колёсах и никого не ждёт. длинный халат с золотой вышивкой, в запахе при шагах чередуются ноги, худые, с положенными изгибами и гладкой блестящей кожей. кажется, они привезли его откуда-то из путешествий. постепенно в воду возвращаются рыбы, разные подвижные раковины и медузы. они набирают видимость и различимость. конечно, для неё.

ты не знаешь, что мы на море. в твоём углу поселились жирные, лоснящиеся мясные мухи. летают тяжело и лениво, сшибают друг друга. сухой запах черствеющего тела искушает их.

записывать твоё молчание в твоём старом дневнике. подделка почерка, получается очень красиво и похоже. близнецы на одно лицо.

потом Аля курит в беседке в саду. от трубки много дыма, густого и пахучего. вокруг сада кружат отдыхающие. у них много дел — музеи, променады, пляж, ужин. Аля записывает, как ты молчишь. ты писатель, твои книги кончились, Аля напишет за тебя последнюю.

персики так и не поспели. зелёные бока чуть прихвачены красным, ветер сшибает их, шарики неопрятно рассыпаны по саду. давай поиграем. Аля называет слова — развешивает их по веткам, вот розы склоняются почти до земли, они отцвели, и Аля тщательно собрала все опавшие лепестки — с земли, с листьев хост, с мяты, чабреца и огурцов — я не отвечаю. она всё равно меня не услышит. слова простые, многие абстрактны, от этого ещё тяжелей — горшок с чёрными петуниями растянул цепочки, на которых подвешен.

смесь вводить через зонд медленно, со скоростью 300 мл за 10 минут, смесь подогреть, после кормления промыть зонд тёплой кипячёной водой. у тебя нет сил сопротивляться — ни еде, ни отказу от неё. нет сил, чтобы принять решение и отказаться есть. впрочем, сейчас ты полностью зависишь от меня.

теперь он полностью зависит от Али. Аля выполняет все манипуляции аккуратно, строго по времени, поддерживает режим, как опытная медсестра. Аля научилась. я вижу в ней движения души и мысли. она держит его около себя и готова признаться, что делает это не ради него, а ради себя. болезненная беспомощность мужа и отдалённый ужас — к которому она не может принадлежать, та правда не её, её недожитая ответственность, в будущем, которое, к сожалению, будет, — высвободила скрытое насилие, которым она дорожит.

выходя в город, она оставляет на спинке кресла парик, поддельный лоск гниющей роскоши. десять километров по берегу, солнце сначала светит в спину, обратно в лоб. Аля обедает в рыбном ресторане в посёлке. копчёный угорь, литовский холодный борщ. обязательно вино. каждый обед, каждый день, каждая прогулка по повторяющемуся маршруту — в последний раз. праздновать ожидание конца. утром всё повторяется.

Аля идёт по полосе песка, смачиваемого водой, песок здесь плотнее, так что ноги не увязают и легче идти, намокшая тяжесть держит поверхность почти в виде снежного наста, который принимает человеческую тяжесть и почти не ломается. холодная вода, мёрзнут ноги, и это ощущение одно из немногих

человеческих и настоящих. делать фотографии, много кадров, десятки кадров одного вида: побелевший от соли, ветра и солнца ствол дерева, искривлённый по направлению к берегу, вглубь, Аля снимает пространство через просветы в ветвях. столбы из таких стволов наклонились, сошлись в едином движении, объединившись верхушками. между ними ветер рвёт лоскуты белёсого полотнища. брошенные фрагменты прошлогоднего сооружения на нудистском пляже. пляж полон людьми, но навес никто не восстанавливает, как будто продолженные действия, обращённые в будущее, не имеют смысла.

она рассматривает тела, открыто, не смущаясь, проходит неторопливо. здесь одни мужчины. она мысленно описывает спины, ноги, цвет волос. приглядывается к мошонкам, членам без эрекции. секс не интересует — предпочитаю наслаждение власти.

она любит его, нельзя в этом полностью отказать. руки сочатся нежностью, когда она моет его. не поранить истончённую пергаментную кожу, эпидермис собран параллельными узкими складками-морщинами, которые рвутся при дотрагивании и оставляют подсыхающие пустые островки тела, лишённые защитного покрова, сочащиеся сукровицей. цвет его кожи однороден, пролежней нет — Аля переворачивает тело по часам, обкладывает диванными валиками и подушками, чтобы не убежало.

у соседей трое детей, их кухня у нашей двери в сад. утром их собирают в школу, и потом Аля больше не может заснуть, днём к её возвращению возвращаются дети, и шум проникает в стены. Аля кутается в одеяло, надевает куртку и часами бездвижно сидит в беседке. её внутренности всасывают морской воздух, запах далёких сосен, забиваются мельчайшими песчинками, которым она только рада. быт поглощает, но не поддаётся описанию. стоит выйти из будничности, теряется связь. в зазор потери заползают прошлые, ненужные теперь и лишние воспоминания: картины, улицы, музей, лес, свечка на террасе, книги громоздятся по столам, мятый пустой пододеяльник. пустые, тёмные дни.

чужedomность раскрепощает. как будто здесь во временном жилище никто не увидит, что я могу сделать с тобой. жизнь в постоянном доме тоже была взаимная, двойная. со-участие, со-переживание заставляет делать работу воображения. это необходимо, чтобы быть там, со всеми.

твой дневник слишком привязан к моменту, если перечитывать — ускользает. обязательные маркировки временем и местом. как уезжать, зная, что навсегда? слова ослабели. на Алю вдруг с корешка чёрно-красной крапчатой книги, единственной, которую она взяла с собой, смотрит могильный овал Платонова — портрет на памятник: всё в лице округловатое, как будто немного утолщенное, и нос мясистый, и почти картошкой, высокий скруглённый лоб, волосы набок, и внезапно белый шарф посреди воротника, а глаза и нос

в обрамлении морщин, глубоких и западающих.

поверхности дома заселены пыльными разноформенными кристаллами, старыми подвесными часами на гнутой литой ноге, под стеклом у них обрубок стрелки, одной, который продолжает кружиться в равномерном подрагивании механизма. здесь белая длинноволосая шкура, от неё потеют ягодицы. вязаные корзины с обломками украшений — разноцветные камни, тусклый металл, стеклярус, бисер, искусственный жемчуг — и комками свёрнутых шарфов. ничейные богатства.

вечером снова к морю, теперь уже на променада. толкаться с людьми, провожать жизнь, готовиться к концу. под веками песок, земля, зыбучая сепия сложилась в идеальный круг. где мы идём сегодня, по какой стороне круглого контура, внутри или снаружи. солнце светит в спины, провожает нас, не оставляет нас. земля пуста, зарубцевавшись после бедствий, впитав кровь, разгладила поверхность. переход через горизонт.

краткосрочный момент, удивительный в своей пойманности. переход через границу солнца — резкую черту, что режет лица, сцепленные руки, связанные общей болью тела. на море, когда купаешься и сидишь в воде, хорошо заметно, как наступает дождевая туча, сверху, с гор, с притулившегося по берегу города или из-за воды, из-за линии смыкания насильственно разделённой дихотомии неба и земли, облитой водами. граница света и тьмы перебегает быстро, на море помогает ветер, и кажется, разделённость существ и предметов, разрезанных светотеневой чертой, противоречит физике, а может, так и есть. главное, держаться вместе, не расцепляйте руки.

беженцы внутри, большеголовые спящие люди с заострёнными птичьими подбородками несут нас во внутреннюю эмиграцию, не пряча реальность и осознавая её, не давая забыться и привыкнуть: «В тёмные времена бессилия бегство из мира всегда оправданно, постольку, поскольку мы не закрываем глаза на реальность, но постоянно имеем ее в виду как то, от чего бежим. Когда люди выбирают этот путь, частная жизнь тоже способна сохранить отнюдь не незначительную действительность, хотя и остается бессильной. Важно только сознавать, что реальность этой действительности заключается не в ее внутренне-личностном характере и возникает не из приватности как таковой, а благодаря связи с тем миром, из которого мы ушли. Нужно сознавать, что мы постоянно убегаем и что бегство есть та действительность, в которой нам сообщает о себе мир. Поэтому же подлинная сила эскапизма берется из гонений, и личная сила убегающих растет с ростом гонений и опасности» (Ханна Арендт «О человечности в тёмные времена: мысли о Лессинге», перевод Григория Дашевского, из книги «Люди в тёмные времена»).

выбор: придушить подушкой, ввести три или четыре дозы фентанила, перестать кормить. обсудим? что ты предпочтёшь? разговоры на ночь, вместо спокойной ночи. море затихает, чайки где-то спят. Аля прикрывает глаза как с фаюмских портретов.

Егана Джаббарова

Ввиду всем известных и неизвестных обстоятельств оказалась в Тайбэе, где буду работать минимум год. Учусь существовать в изолированности и одиночестве, будучи без любимых и вне языка. Большая часть текстов написана здесь за последние пару дней.

российские сны (мёртвое тело языка).

опознание тела какой-то страны в ходе того, что нельзя называть
колонизаторы принесли с собой языки, патогены, микробы и вирусы
доставили их в сны местных жителей
прямо в кровь.

дети целуются с землёй,
выражают свою любовь к матери, к отцу, к бабушке, к дедушке
теперь вся любовь окоченела в конечной позе
на случайной фотографии в телефонах свидетелей

засвидетельствуйте смерть родины, языка, ребёнка
в количестве двух понятия ракеты стоят посреди улицы
скажите мне то, что нельзя говорить вслух, на ухо
оставим надежду у входа в дом родителей

жарко, как и подобает в аду.
*сколько кусков ткани старости перешьют на саваны?
кого отпевают птицы в 5 утра?*
ты говоришь нет больше колонизации, повсюду независимая земля
только вирусы и животные с тобой не согласны

в их вырубленных лесах похоронены сказки матери,
сундук прабабушки, рецепт воскресного пирога
мое тело зудит, я пытаюсь не трогать зудящие островки,
но срываюсь и вместо зуда остаются синяки:
большие огромные, как валуны, как пустоты,
как зрачки влюблённых

словно там изнутри подрывается снаряд,
бах
словно там изнутри все, кто мертв, говорят,
бах
словно каждый синяк — это слово, которого нет,
бах
лопнувшие сосуды,
как белый мел,

помечают мертвое тело языка на твоей спине
скажешь *мир*, но везде на раздаче война
люди в очереди стоят, спрашивают: *почем*, трогают, торгуются, говорят, что им
для праздничного стола.

тайбэйские сны

I

безразличное небо везде одинаково безэмоционально
пропускает по венам самолёты, ракеты, воздушные корабли, птиц
никогда не меняется и пристально смотрит в глаза,
из какой страны ты не смотри

равнодушный отель стелет белую простынь
как свидетеля пустоты, как лист показаний,
сколько миль, сколько часовых поясов между нами?
5946 причин, по которым я не могу заснуть

привыкание тела не означает отсутствие разрыва,
рана на ноге не заживает,
напоминает время, проведённое вместе,
обналичивает валюту под названием страдание

только корням свойственно расти в одиночку,
всякая тень спасительное желание деревьев обнимать людей
оборачиваюсь от сна,
чтобы увидеть тебя рядом
только ночь рядом отзывается на моё движение
и смеётся
металлическим гулом кондиционера.

II

как пережить расставание с тем, с кем расставаться не положено?
в точке необратимого одиночества пахнет жареным чесноком,
люди говорят слова, будто мяукают,
пространство сжимается до маленькой-маленькой комнаты,
в которой тебе жить целый год.

помимо тебя ее населяет геккон в ожидании добычи
помимо тебя стены тоже плачут протекающим кондиционером
весь мир это экран ноутбука, видеозвонок, поговорить с друзьями,
поговорить с женой, поговорить с кошкой,
посмотреть на свою утраченную нормальность,
на свой устоявшийся быт из точки расстояния
сколько пить воды, чтобы возместить утраченный запас жидкости?

как пережить расставание с миром, в котором все было знакомо?
в котором не надо брать с собой гугл-карту?
в котором не надо ставить геометку, чтобы не заблудиться?
как жить, когда все, что ты знаешь, уничтожено?
как привыкнуть спать одному без кошки на теле и дыхания любимой
женщины?

как привыкнуть к миру, который совсем не знает холода и не говорит на твоём
языке?

очень страшно в момент, когда еще не уснул, но почти засыпаешь
мир обретает ясность, слишком острые углы, непроизносимые вещи
слова встают поперек горла: убаюкивают только разговоры людей из ютуба
где то стекло, что разбивают в случае острой необходимости?

III

азиатские улицы наполняются жаром и пенсионерами,
в пять утра ты единственный свидетель мира,
деревья говорят тебе: смотри, какой ты маленький, странный и чужой,
ты знаешь только нихао и шеше, ещё и пишешь их на своём странном языке
ты говоришь только:

*sausage McMuffin with egg, plain bagel, iced latte, japanese rice and grapefruit juice, beer,
curry bratwurst,*

твои единственные соседи

вода, помело и один банан переговариваются в холодильнике обсуждают
внезапное безумие хозяйки, нескончаемый вой из её кровати.

IV

полгода смерти и вот живешь на вершине Тайпея в горах
дожди чаще, чем все остальное, пахнет грозой,
одинокие зрители в виде деревьев глядят на тебя
по-китайски обсуждают твоё странное поведение

никого не трогай — гласит мануал
люди могут подумать что-то не то
могут решить, что ты точно враг
прикасаешься к их телам
отбираешь душу

твое одиночество — расплата за покинутый дом войны
сиротство объединяет других, немых,
не имеющих языка,
скитающихся и не знающих дома,
как много километров нужно проехать,
чтобы найти, где мертвые вновь обретают тела,
становятся живыми,
любимые не расстаются
родные не ссорятся?

Алиса Ганиева

Автор прозы и не только. Правда, после вторжения России в Украину, любая литературная самопрезентация, мне кажется, довольно бессмысленной. А участие в литпроцессе внутри России (так, как будто ничего не произошло), видится очень вредной и самообманчивой нормализацией зла. Поэтому сейчас я в первую очередь ощущаю себя не писателем вовсе, а невольной представительницей и гражданкой страны – террориста. И ответственность за это я буду нести еще очень долго.



/оригинал статьи на нем. в «Frankfurter Allgemeine Zeitung» 13.05.22/

Удушье

Путинизм в России — это нечто гораздо большее, чем поддержка Владимира Путина. Это гражданская инвалидность всех слоев общества, неизбежная после двадцати лет его систематической и целенаправленной деполитизации. В России давно стало нормой, что мандат на правду и политическую позицию есть только у власти, а любой, кто пытается противостоять (политик-оппозиционер, общественный деятель, бизнесмен, активист или правозащитная организация), уже выглядит проигравшим, жалким и смешным. В лучшем случае его запишут в вечные фрики, мишень для издевок или провокаций, отберут собственность, выдавят из страны, лишат больших карьерных перспектив, в худшем — убьют. Народ, у которого за последние несколько веков не было и десяти лет настоящей свободы, легко подсел на иглу патернализма и так называемой выученной беспомощности.

Приоритет силы — вот что становится отправной точкой для любых рассуждений. Отсюда и популярный сейчас защитный рефлекс отождествления себя с силой, то есть, с властью, — если даже мы и напали на Украину, значит, так было нужно. Им ведь там наверху лучше знать, надо без лишних экивоков встать на сторону президента. Присягать «спецоперации» с формулировкой «за победу, за президента» мгновенно побежали в первую очередь чиновники всех мастей от ректоров вузов и губернаторов до

директоров школ именно потому, что эта категория годами пестовалась из самых податливых, безыдейных и безынициативных.

Даже талантливые и яркие люди, попадая в паутину путинской системы, очень быстро сливаются с общей серой массой. Это трагический процесс обезличивания, морального выскабливания человека — я лично знаю нескольких таких людей на высоких должностях. Для них война в Украине явилась кромешным ужасом, но они наблюдают за этим ужасом в молчаливой агонии, не смея сказать ни слова против, а то и вовсе, гласно поддерживают вторжение. Система их уже проглотила и переварила.

Словом, Путин — хозяин России не потому, что его так любят, а ровно наоборот, его любят, потому что он хозяин. Будь на его месте любой другой серый тщеславный человечек с мессианским комплексом, пускай и кровавый вор, его бы терпели и славил с таким же единомышленником, ведь он позволяет массам пребывать в политической коме. Да, массам живется бедно и тяжело, их обкрадывают и предают, зато им не надо никуда дергаться, не надо бороться за свои права, взваливать на себя историческую ответственность, налаживать и обустройства быт.

Отношения Путин–народ строятся на комбинации мазохизма и нарциссизма. Народ одновременно и унижен, и возвеличен, с ним, с одной стороны обращаются, как со скотом (к примеру, даже по официальным данным пятая часть россиян живет без доступа к центральной канализации), а с другой — бесконечно обостряют в нем чувство национально-имперского превосходства: мы самые великие, самые сильные, мы освободители мира, творцы победы (победы 1945-2022, как пишут на российских пропагандистских плакатах), потому-то нас все боятся и не любят.

И этот наркотик превосходства и величия, вынутый Путиным откуда-то из стыдных закровов постсоветского сознания, легализованный и превращенный в главную идеологию страны, разъел не только самих путинистов, но и большую часть населения, включая даже либеральных оппозиционеров. Многие из них страшно переживают маячащий на горизонте переход России из игроков первого ряда в пул третьего мира, а особенно — возможную потерю территорий и частичный ее распад. Как будто демократическая, отказавшаяся от имперских амбиций Россия и вправду возможна в ее теперешних границах (сейчас, как выразился Путин, «Россия нигде не кончается»), и это сильно мешает поборникам ее величия переключить настроение масс с шовинистическо-экспансивных на жесткую самокритику). Такие оппозиционеры торопятся уже сейчас, не дожидаясь прекращения бомбежек, обелить свой потенциальный будущий электорат, напрочь отрицая понятие «коллективной ответственности» российского народа, намеренно именуя российские войска «путинскими», объясняя выросший после начала

войны рейтинг Путина либо враньем российских социологов, либо страхом людей говорить правду.

Да, это правда, свободной социологии в России не осталось, а решение о вводе войск в Украину принималось одним человеком без согласия всех сто сорока миллионов, да и ликования по поводу бездарно ведущейся под боком войны ни у кого нет. Но вовсе не потому, что большинство было бы против потенциального захвата Киева — вкус россиян к военным походам на «свою, советскую» территорию, которую он искренне не научился считать полноценной и независимой страной, проявился еще в том неподдельном и подавляющем восторге, которым российское большинство встретило аннексию Крыма в 2014-м.

Причины неликования другие — отсутствие очевидной победы, огромные человеческие жертвы, резкое падение уровня жизни из-за санкций и т.д. Я вижу это по многочисленным знакомым из вполне образованных, рефлексизирующих кругов, по чату однокурсников, к примеру. Речь о войне, развязанной нашей страной в Украине, заходит лишь как о досадном неудобстве — пропали товары, есть риск потерять работу, как бы не объявили всеобщую мобилизацию, пугают взрывы в российских, приграничных с Украиной областях, но ни слова о том, что же все-таки происходит и кто виноват. Напротив, некоторые выражают надежду, что если у нас так много «двухсотых» (то есть, убитых), то у «хохлов» еще больше. Тут же кто-нибудь присылает фотографию из сворованного Крыма — вот, мол, шлю вам привет с дачи Чехова, остальные восхищаются. Все тонкие люди, книгочеи, гуманисты, и только один человек из сорока выразил горечь по поводу творимых нашей страной убийств и преступлений, остальные — загораживаются, не верят, не воспринимают.

Говорю с подругой из Саратова, у нее, как и у большинства россиян с антивоенной позицией, почти вся родня — «путинисты». В начале войны поздравляли друг друга с тем, что, мол, скоро покажем этим «неонацистам», «укро-наркоманам» и НАТО кузькину мать. Сейчас, после двух месяцев позора российской армии и растущей изоляции страны, поутихли. «Говорим только о ценах на продукты,» — отмечает подруга — «и у тети от волнения рука отнялась, потому что сын — призывник». Значит ли это, что эти люди начинают прозревать и осознавать масштаб военных преступлений своей «сверхдержавы»? Вовсе нет, их сознание всеми способами вытесняет правду. Они просто тревожатся за свое будущее. И если вдруг вектор переменится и фигура силы сменит личину Путина на новое лицо, они мгновенно перестроят свою лояльность.

Об этом говорят и различные исследования. Это и материал антрополога [Александры Архиповой](#), проанализировавшей самые частые клише, которыми россияне оправдывают «спецоперацию». И очень показательная работа журналиста [Шуры Буртина](#), который по итогам разговоров и опросов «глубинного народа» составил свою классификацию расхожих реакций. Если обобщить, то речь идет о примыкании к большинству при полном отсутствии собственного мнения — это главный диагноз. Кодовые слова — «своих не бросаем», «войну развязала Америка и, если бы не мы, жертв было бы больше», «от нас ничего не зависит», «никто не знает всей правды», «они бомбят сами себя». Характерно и наличие внутренних противоречий, например: «украинцы ждут, когда мы их освободим» и тут же «хохлы всегда нас ненавидели».

Я бы добавила, что это даже не низовая «шизофрения», это «шизофрения», спускаемая сверху, через поистине галактических масштабов пропаганду, которая давно состряпала готовые шаблоны ответов на каждый аргумент в защиту правды. Условно говоря, любой спор пропаганда превратила в прогулку по минному полю, где каждый следующий шаг может привести к тому, что тезис сдетонирует: начни с собеседником разговор про изнасилования на войне, как сторонник войны мгновенно подхватит это утверждение, указав, что это типично русофобский ход, применяющийся еще со времен окончания Второй мировой войны для дискредитации советской армии и минимизации ее роли в победе над Германией.

Это плотный хоровод мифологем, где ключевые события вроде обнаружения массовых убийств и пыток в Буче просто не оформляются как информационные поводы в экосистеме российских СМИ, а, соответственно, и в головах их многомиллионной паствы. Инстинкт самосохранения не позволяет людям усомниться в том, что действия России всегда правильны. У них давно выработалось чувство, что им не по праву сомневаться в сообщаемой властями информации. И дело даже не в том, что за сомнение несложно получить реальный тюремный срок, а в том, что это чувство (можно грубо назвать его холопским, а можно инфантильным) воспитывалось в народе давно и вытравлять его пришлось бы очень и очень долго.

Вера в правоту своего правительства независимо от его бесчинств и грехов, отчасти напоминает веру в авторитарного бога. Тотальное недоверие к официальным источникам сочетается у «путинистов» всех социальных страт с экзистенциальным доверием власти, несмотря на всю ее жестокость и алогичность, ведь от нее буквально зависит их жизнь. Кстати, некоторые аналитики заходят так глубоко, что видят фатализм и детерминизм русского народа даже в растущем количестве безличных конструкций в русском языке. У нас чаще говорят не «дождь размыл дорогу», а «дорогу смыло» — субъект затушевывается, и ответственность снимается. Этот фатализм разлит и в реакциях российских матерей, отправляющих сейчас детей в мясорубку —

«погибнут? Значит, так тому и быть». Вместо того чтобы бомбардировать военкоматы письмами и звонками, они предпочитают сходить в храм и заплатить за молитву (заплатить церкви, которая тоже официально одобряет убийства).

В этом удобном патерналистском коконе, в котором можно так и прожить несмыслящим младенцем, любые несогласные — выскочки, нарушители коллективной солидарности, поэтому их не стоит воспринимать всерьез. Страшно, что путинизм, как хроническая инертность и самоуничужение вкупе с имперским величием, переходящим в оправдание зла, совсем не обходит тех, кто имеет дело с этикой, мыслью, искусством. Я вижу, как его транслируют писатели, художники, музыканты. Среди них попадаются и идейные, и максималисты, но по большей части в них размножается все тот же вирус приспособленчества и оппортунизма.

Но главная опасность заключается в том, что Путин уйдет прежде путинизма. Может случиться, что власть сменится, и санкции будут сняты гораздо раньше, чем российское общество успеет выработать чувство национальной ответственности. И тогда после паузы все повторится снова.

максим евстропов, депутат партии мёртвых

последнее, что я сделал в россии — воткнул черепа на палочках во всё ещё мёрзлую землю между подтаявшими кучками снега напротив железнодорожного полотна, назвав это «подснежниками русской весны». и митинг, и инсталляция, и натюрморт сразу. далее наблюдал многих, как я — не то переместившихся, не то перемещённых, перетасованных, будто колода карт. для мёртвого перемещение не столь существенно, в отличие от отношения к земле, которое в целом везде монотонно. мёртвые космополитичны (для них космическое — это лично-политическое). впрочем, теперь, глядя на бессмысленное полуприкрытое производство трупов, уже не получается с таким же удобством, как раньше, обосноваться в смерти.

[земля блюёт телами]

когда не было войны
хотелось встать на точку зрения земли
и говорить от её единственного крошащегося лица
о принятии всех тел, каких угодно, любых
о поглощении и гниении

сейчас, когда обнажились
куски разлагающихся военных
фрагменты насильников
от которых стыдливо открещивается их страна
кажется, будто они выблеваны землёй
отказывающейся их глотать

[22/3/2022]

[позвоночник-сколопендра]

человек с буквой z
во всю спину,
сварганенной из малярного скотча,
движется вдоль забора куда-то
щенки, виляя хвостами,
обгладывают позвоночник солдата
трупы лежат друг на друге
внутри и снаружи
мариупольского морга
(вот это, должно быть, гниль
вот это, наверное, ужас —
движется человек
из бумажного скотча куда-то,
виляя хвостом
и обгладывая позвоночник солдата
под серо-зелёной курткой
с последней буквой латинского алфавита
— под кожей, под жиром, под мясом —
вырезанная на сердце свастика
или её половина
тела прикрытые
полуприкрытые
в носках

с ранеными ногами
в нижнем белье
совсем без одежды
с раздробленной головой
обглоданный позвоночник солдата
похожий на сколопендру
как косточку
выплёвывает мужчина
с бумажной буквой z
во всю спину
и движется дальше
вдоль забора
мимо каких-то руин

[29/3/2022]

[вещь-в-себе]

вещь-в-себе аффицирует нас ракетным ударом
вещь-в-себе воздействует на наши чувства осколками стекла и взвесью из пыли,
долгое время остающейся в воздухе после взрыва
вещь в себе вызывает контузию, вещь контужена
вещь сама по себе, независимо от нас, продолжает воздействовать на наши
познавательные способности фотографиями трупов
сидя в себе, будто в танке, или, лучше сказать, в бункере
вещь целится в нас чёрным дулом
расстреливает изнутри
математически возвышенная гора черепов
динамически возвышенная цепь ментов
у вещи самой по себе особенная статья
вещь саму по себе аршином общим не измерить
пруссский милитаризм это кант и крупц, пизда и задница
непристойная половина лошади, едва стоящая на ногах
русский милитаризм это то же самое, только без буквы «п» (пизда, задница)

[30/3/2022]

[просто так]

они боялись всего
(преимущественно — воли)
говорили: «мы люди маленькие
да даже если большие
да даже если не люди
— это не значит ничего
и ничего не решает
это всё зря
нас обманывают»
— и в конце концов согласились
убивать просто так
и умереть просто так

[7/5/2022]

[собор]

собор трещит по швам
ура ура ура
дыры кое-где залатывают
распятиями, самолётами
кровью и плотью
собор распадается
ура ура ура
куском плоти убило ребёнка
стена придавила людей
(теперь их можно назвать «народ»)
стены кое-как подпирают трупы
кто мастер? кто строил?
мёртвые не просто вмурованы
но сами стены это кое-где истерзанная плоть
размягчается, раскисает краугольный камень
как-то плавает в крови жертвоприношения
не затвердеть
но стягивает военный корсет
высыхающий кожаный обруч на ветру
лишнее выпрастывается из трещин
личинке не вернуться обратно в нору
но и не выйти: душно, душит дух

[5/6/2022]

[по-над трупами]

путин шутит по-над трупами
про сортир и про резиновую попу
— военная нога, коричнево-зелёная ткань,
пропитавшаяся кровью, обёрнутые
в одеяла тела, следы нестираемого
увечья, дети —
калом бурит
история хотела помереть спокойно
но вы её выкопали
«смотрите, как она дышит — нами!»
с конченным восторгом
без внятной цели
распространяя свою неуместность

[22/09/2022]

«последнее, что я сделал в россии — воткнул черепа на палочках во всё ещё мёрзлую землю между подтаявшими кучками снега напротив железнодорожного полотна, назвав это «подснежниками русской весны». и митинг, и инсталляция, и натюрморт сразу. далее наблюдал многих, как я — не то переместившихся, не то перемещённых, перетасованных, будто колода карт. для мёртвого перемещение не столь существенно, в отличие от отношения к земле, которое в целом везде монотонно. мёртвые космополитичны (для них космическое — это лично-политическое). впрочем, теперь, глядя на бессмысленное полуприкрытое производство трупов, уже не получается с таким же удобством, как раньше, обосноваться в смерти.»

— максим евстропов

p\a\z\n|i\ц\ьi: Почему вам было удобно, а теперь стало неудобно в смерти? Что изменилось?

максим евстропов: война — массовое производство расходной жизни, в такой ситуации смерть опустошается и теряет укрывающую глубину. смерть, если вспомнить слова гегеля (сказанные, правда, о революционном терроре), становится «последней пошлостью»: «всё равно, что срубить кочан капусты или глотнуть воды»¹. на войне все делается будто бы мобилизованными и лишёнными своего смысла. мобилизованная «русская смерть», до войны ещё кого-то очаровывавшая, оборачивается тупым убоем.

p\: Да, практически потеря ауры оригинала в эпоху его технической воспроизводимости². Впрочем, дальше такая аналогия рискует вступить на скользкую дорожку. Наверное, лучше ее свернуть, пока не поздно. С началом войны партия мертвых, если так можно выразиться, экзистенциально выстрелила. Вместе с опошлением смерти, дискредитацией смерти, ей достался вопрос о разделении смерти и смерти. И о самоидентификации. Изменилась ли философия проекта после 24-го февраля?

м.е.: касательно аналогии с «аурой оригинала»: мы и так уже оказались на скользкой дорожке, когда заговорили о «пустой» смерти в противовес «глубокой» и «укрывающей». смерть, возможно, всегда одинаково пуста, и вовсе

1 Гегель Г.В.Ф. «Феноменология духа»

2 Беньямин В. «Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости»

не она составляет для нас проблему, но мёртвые. пожалуй, беда с войной как раз в том и состоит, что мёртвые теряют значение: их становится катастрофически много, и это уже «неважно какие», бессмысленные и безымянные тела. присыпанные песком в коллективных могилах, вдавленные в грязь танками, просто гниющие под открытым небом. это вот катастрофическое количество мёртвых (их больше, чем можно подумать) как раз всегда и было нашей исходной точкой, поэтому нельзя сказать, что философия партии мёртвых как-то существенно изменилась с 24 февраля. конечно, в целом стало не до философских изысканий, не до нюансировки положений и мысленных экспериментов, зато теперь мы с уверенностью можем заявить: некрофилия — это гуманизм.

р\: Но ведь цивилизация начинается с некрофилии, почитания мертвых. То, что сейчас происходит, вводит в ступор именно этим попранием древнейшего из гуманизмов. Разумеется, такое могло происходить при любой войне и ранее, но у нас не было всевидящего ока, которое бы вещало об этом в реальном времени. Которое оставило бы столь мощное свидетельство именно в этом смысле.

Что это вообще такое? Раса оскорбленных/обделенных сердцем и мозгом мудил, непонимающих, что все знают, чем они занимаются, или антивитальная политика нового мира, с мыслью и целью, со сверхидеей всеуничтожения? Ведь они буквально делают все настолько бездарно убого, что кажется невозможным, что все это нечаянно, по глупости. Это похоже на видео, где тело срет себе в рот, сделав необходимую операцию на позвоночнике.

м.е.: да-да, мы тоже были обескуражены этим головокружительным скачком в первые дни войны: от слухов о мобильных крематориях, «испаряющих» тела так, что не остаётся следов, до максимально непристойного в своей чрезмерности количества брошенного военного мяса, которое на голубом глазу объявляли «фейком». вы предположили, что за всем этим стоит либо никчёмность, либо сверхидея уничтожения, но одно другого не исключает. небытие как цель, нигилистическая или апокалиптическая идея подпитывается ощущением собственной мудацкой никчёмности, и наоборот. впрочем, уничтожение другого и самоуничтожение редко рефлектируется и проговаривается как отчётливая идея (к этой навозной бездне, повизгивая, приближаются так называемые «военкоры»). скорее всё это работает как бессознательное «влечение к смерти»: отказ от будущего, стремление вернуться в утраченное исходное состояние, пусть даже его не было (российская

федерация начала 21-го века — отличная иллюстрация к фрейдовской теории начала 20-го века).

в конечном счёте это исходное состояние и есть смерть, но она больше не укрывает. война производит только разрыв: с одной стороны — неприсваиваемый и непредставимый опыт жертв (мирные жители украины), с другой стороны — ничемные расходные жизни и их неоплакиваемая смерть (российские оккупанты). этот разрыв пытаются залатывать сверхидеей уничтожения, но от этого он только усугубляется.

р\: Хм, может быть, в самом деле, разницы... Но нет, постойте — это противоречит идее нашего журнала.

Влечение к смерти может быть облачено в сияющие (сиятельные) одежды. Давайте зайдем с другой стороны. Древние — культы смерти, жертвоприношения, жажда смерти, Кали, Кетцалькоатль, ветхозаветный косили людей промышленно. С пьедестала. У Гитлера получилось что-то подобное, а младотурки, Пол Пот или Сталин особо не заморачивались с оформлением геноцидов, но все же имели некую картину мира, парадигму, почему это правильно — истребить вот этих. У нынешней власти РФ нет основания для легитимации уничтожения людей, или я не прав? То, что они транслирует посредством пропаганды, м, этот эрзац-фашизм, где никто не хочет ничего, кроме, как покрыть «сверхвеликой» лапкой «американскую» лапку, или какая-то идея все же содержится в этом макабре?

м.е.: власть и пропаганда в рф возгоняют аффекты ненависти и растерянности, питают ресентимент, играют с правоконсервативными, имперскими, националистическими и ксенофобными клише, при этом за всем этим не стоит никакого внятного идеологического содержания (что не может не поражать). этот, как вы сказали, эрзац-фашизм оказывается также шизофашизмом, поскольку заявляет о том, что как раз таки он и борется с фашизмом, «денацифицирует» украину. но такая шизофреническая ситуация как раз и становится возможной в силу отсутствия содержания. характерной чертой этой шизоситуации является также рассеянная или смещённая, дезориентированная негативность: основной мишенью выступает соборный «запад», но при этом убивают украинцев. а их убивают потому, что не признают за ними субъектности (в чём сказывается имперское отношение к «братскому народу» — патерналистское, загодя лишаящее его самостоятельности): мы вас убиваем, потому что вас нет. это отрицание

реальности другого — составляющая общей дереализации. россияне, наверное, и самих себя также не воспринимают как существующих (здорово и вечно, но нас нет). в конечном счёте, как говорится, непонятно кому и зачем это нужно. т.е. у российской агрессии какой-то совершенно невнятный субъект, субъект без субъектности.

(сверх)идея тотального уничтожения это также и идея уничтожения всякого содержания, т.е. на пределе своём пустотная, бессодержательная идея. российская власть, вернее, невнятный субъект российской военной агрессии в силу своей идеологической бессодержательности как бы вплотную подступает к этой пустотности — к тому, чтобы убивать и умирать просто так. но было бы ошибочно приписывать этому невянтому субъекту какую-то демоническую волю к пустоте, отчётливое стремление к небытию. в невянтом субъекте нет ничего демонического, и к пустоте он приближается не потому, что имеет к этому волю, а потому, что никакой воли не имеет (т.е. потому что он мудак).

р: О, да, отличный образ! И, конечно, в таком случае само собой возникает желание обнаружить действительного субъекта — силы ада, нашедшие достаточно пустое тело для проявления своей воли. Но воздержимся от него — силы ада в Гаагу не отправишь, а этих можно.

Вообще, темы размытости границ между живым и неживым, человеческим и нечеловеческим, взгляд на цивилизацию, как на болезнь планеты, и прочие подобные идеи из «темных онтологий», были весьма популярны в последнее время в философии. Война как-то изменила этот дискурс?

м.е.: общее место тёмных онтологий, спекулятивного реализма и нового материализма — критика антропоцентризма, попытка выскальзывания за пределы человеческого, апокалиптическая фигура «мира без нас». ещё недавно всё это воспринималось преимущественно в экологическом контексте, теперь же всё это, вероятно, стоит воспринимать также и как предчувствие войны.

отметим любопытное совпадение: философские картины нечеловеческого ужаса в изобилии встречались с конца 1920-х, непосредственно перед второй мировой войной, возникая часто совершенно независимо друг от друга, как выражение некоей подземной интеллектуальной тенденции

(например, жидкостный анонимный стихийный ужас у леонида липавского³ или существование без существующего у эммануэля левинаса⁴). всё это также постфактум можно прочесть как катастрофическое предчувствие.

и вот, тёмная онтология, воспринимавшаяся как возвращение «старого, странного, страшного» в поле мысли, оказывается провозвестием возвращения старой, странной и страшной истории. однако теперь, вместо заботы о преодолении антропоцентризма, все отброшены войной к чему-то архаическому, «слишком человеческому». мир будто бы шагнул назад, и вот, вместо глобального упразднения государств и их границ империи противостоят национальные государства и частично стёртые колониальным насилием этнические идентичности. архаизм войны постоянно подчёркивается тем, что её концептуальным горизонтом со стороны рф оказывается историческая реконструкция, воспроизведение каких-то убогих отголосков второй мировой (вплоть до использования сталинских гаубиц д1 и винтовок мосина).

но война это также и усугубление экологической катастрофы, хотя об этом сейчас уже даже не думают, будучи слишком вовлечёнными войной (стремительный рост углеродных выбросов, массовая гибель не только людей, но и нечеловеческих народов, в конце концов, грязная бомба, которой всё потрясает шойгу и российские военные). однако эту войну можно расценивать также и как противостояние реакционной политической повестки (игра в фашизм) с экологической (глобальной и постчеловеческой). и экология здесь неизбежно возьмёт своё, прах победит, земля победит.

p\: Слава земле. Мир праху.

В предыдущих интервью вы достаточно раскрыли историю своей партии, ее отличие от подобных проектов прошлого, поэтому напоследок хочу спросить о вашем личном пути к своему месту, к голосу мертвых. Это чистый концепт, или психоаналитическая история?

3 Липавский Л. «Исследование ужаса»

4 Левинас Э. «От существования к существующему»

м.е.: для нас в партии мёртвых важна связь личного (психоаналитического?) и концептуального. мёртвые для нас это не только проблематическая концептуальная фигура: когда мы говорим о мёртвых, мы имеем в виду реальных мёртвых.

р\: Ваших мертвых?

м.е.: любых.

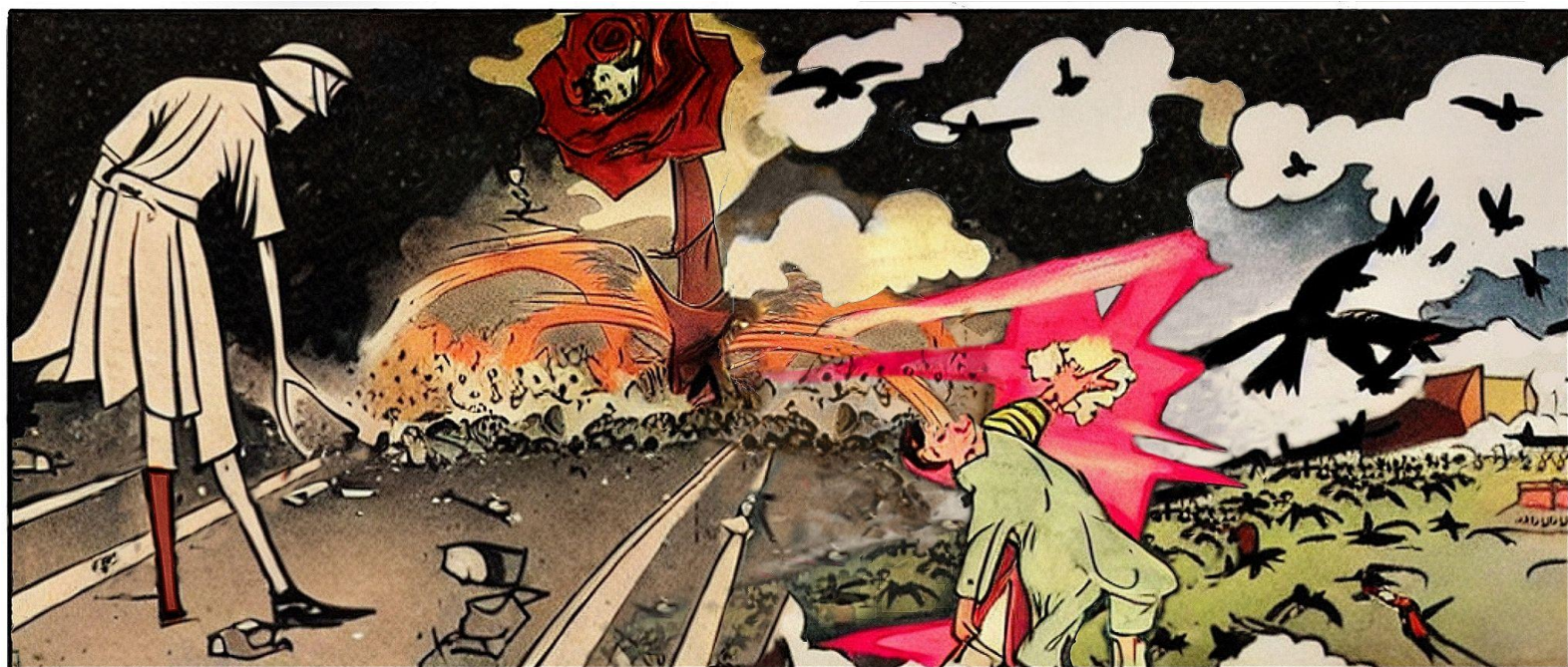
Игорь Тибман

Впервые с начала пандемии, 10-го февраля я выехал из рф. Ровно через две недели, 24-го февраля, я понял, что не вернусь, пока...

Теперь я уже не знаю — что.

Война выдворила меня в какую-то новую жизнь, хотя этот опыт эмиграции для меня уже третий. Но первый не от экзистенциальной тоски.

Теперь я автор этого журнала и этого текста.



Доля значения

«Розочка» — это не только холодное оружие в виде огрызка бутылки, но и след от детонации небольшого взрывчатого боеприпаса на твердой поверхности, например, асфальте. Он похож на пиктограмму солнца, если взрывная волна распространилась более-менее параллельно поверхности, или на обозначение душевой в бассейне, если взрыв отразился под углом.

Пулевые отверстия, вокруг которых люди нарисовали цветы.

Эти поверхности не были целями, никто не имел намерения оставлять на них эти следы. Напротив, они свидетельствуют о халатности, оплошности, промахе. Они оставлены растраченным впустую боеприпасом.

Или частично впустую.

На некую долю процента.

Между следом-символом и его причиной нет драматической трещины, ласка и агрессия отличаются лишь интенсивностью, дальностью от.

Солнце уничтожает все возле себя, кроме того, что производит. Вместо дýша, можно метеориты или радиацию, колыбельную против напутствия полковника. Разница в долях процента.

Цветы лишь цели опыляющих насекомых.

Итак, Иван шмальнул. Большим пальцем одной руки (если он правша, то правой) он обозначил зону поражения в девять клеток на экране краденого смартфона (на большее не хватало очков маны), а другой рукой (соответственно левой) он нажал ветку, или дернул очко, может быть просто споткнулся и упал на пульт управления, мы не знаем — в небо полетел некий настоящий снаряд. Но Иван внимательно смотрел в телефон, поэтому он ничего не знает о том, что произошло — снаряд отправился в небо без надежных свидетелей. (В результате погибло много гражданских, мы больше не вернемся к Ивану, поскольку он был занят, часто отвлекался, и вообще имел весьма незначительное отношение к запуску ракеты.)

Во время полета снаряд мало чем отличается от гуся, особенно если тот летит в составе организованной группы, например, запущенный из «града». Гуси тоже летят группой в одном направлении, а если наблюдатель не осведомлен, то в моменте не будет способен распознать разницу.

Тем не менее гуси летят обычно дальше, в то время как грады начинают снижение согласно параболической природе своего полета (здесь наблюдатель может заподозрить отсутствие у снарядов воли и будет прав).

Гуси улетели дальше, и там, где приземлились, тоже вроде бы, причинили разрушения флоре и фауне, поверхности воды и почвы, но стая градов причинили этого же значительно больше.

Конечно, гусь оставит след лапки в иле, если повезет, ил не тронет природа, и через миллион лет он станет знаком, когда его обнаружат. Ведь он попал куда хотел.

«Розочка» на асфальте станет знаком мгновенно.

И найдут его сразу.

Промах.

Нет, это вовсе не про скорость, не про «быстрый мир — это медленная война». Это про знаки и то, как они появляются.

След птичьей лапы — это след птичьей лапы. Максимум *memento mori*, если у наблюдателя меланхолическое настроение. Знак, который можно не заметить и сразу, и потом, когда-нибудь.

«Розочка» на асфальте чудовищна и сейчас, и через миллион лет.

Этот след порождает значение, так как его невозможно не заметить.

Когда-то, давным-давно, никакого значения не было. Тьма носилась над бездною, но оставить следа не могла — не на чем было и нечем.

Со временем все от всего отмежевалось, зажило своей жизнью и появились следы. Одной жизнедеятельности на другой.

Задолго до того, как было бы кому это заметить.

Затем стало кому заметить.

Но не замечали.

Было неинтересно.

Неважно.

Попал — и ладно.

Потребовалось еще много разного времени, чтобы замечать стало важно.

Замечать не попадания, а промахи.

Человек появился из сожаления. Из обиды от промаха.

Промазал, блядь.

Сука, неудачни_к_ца.

Подош_ел_да, блядь, а там не туша добычи/врага, а отметина на поверхности.

«Розочка» на асфальте. Все напрасно. Жизнь тлен. Почему я? За что мне?

Не дорезал_а баранов на жертвенник, царица гор? Не любишь меня, Господи?

Это место и время откровения.

Здесь тварь задумалась и всмотрелась в отметину.

Что это за отметина?

Это мой позор! — Это знак!

И стал знак означать.

Стали делать насечки на костях. На камнях.

– Не неудачни_к_ца я! Вот я сколько! Вот я травму перерабатываю! Вот!

Не промах, а победа! Убил_а, съел_а, накормил_а!

Значит! Значит! Значит!

Смерть, конечно, тоже. Но это параллельная история. Смерть не означает и ничего не оставляет. Погребение — это уже потом. Слоны тоже хоронят.

Промах, его осознание, порождает культуру, и следом цивилизацию.

Все те неудачни_ки_цы, что испытали страшные эмоции сожаления и стыда перед следами своих промахов на поверхностях, впечатывали их в своих сердцах, приносили в свои стоянки, плакали о них своим.

Передавали им свою боль. Свой СМЫСЛ.

А те, кто приволакивал тушу мамонта или скальп врага — жрали, орали, ебались и прожигали жизнь.

Ничего они не оставляли для будущего человечества.

Ничего, кроме пьяного разгрома поутру.

Культура, и следом цивилизация создана лузерами.

Но сейчас лузеры не видят своих «розочек» на асфальте.

Им полностью похуй на свои промахи.

Они совсем не создают цивилизацию.

Конечно, она уже создана, зачем ее создавать?

Все уже давно что-то значит.

Их промахи похожи на солнышко, душ или цветочки.

Розочку.

Детские рисунки.

Это все не интересно.

Это можно не заметить ни сразу, ни через миллион лет.

Это все для меланхоликов всяких.

Лузерами же она и хоронится.

Пулевые отверстия, вокруг которых люди рисуют цветы.

Елена Королькова

Незадолго до начала войны я несколько раз просыпалась от воя воздушной тревоги. Не знаю, что это было. Я лежала в тошнотном ужасе, боясь шелохнуться и этот вой будто выскребал внутренности. Муж спокойно спал рядом, он ничего не слышал.

Мне стал сниться конец света. Волна, накрывающая город, взрывы, рушащиеся один за одним дома, огромное облако пыли проникает в нос, в рот, хрустит на зубах, и я не могу дышать.

Возможно, конец света наступил, и точно наступил конец моей прежней жизни.

Несколько дней назад объявили мобилизацию. Теперь война пришла и ко мне. Я изучаю военный билет мужа: Категория 1. Мой муж болен, и я впервые за всю жизнь рада этому. Но я знаю, что система жрёт людей, не глядя. Я чувствую удар в живот от каждой слишком громко захлопнутой двери в подъезде, от каждого крика за окном. Впервые в жизни мне захотелось бежать отсюда, куда угодно.

В день, когда где-то началась война,
Я была вялой,
В инстаграме вместо привычного
Только «нет войне» и «мне так стыдно»
Я прочитала десять сообщений о стыде,
Устала.
Не хотела думать и читать о войне,
Хотела писать путевые заметки
Про поездку в Вологду,
Про старушку на остановке автобуса в Угличе,
У которой умер единственный друг — такса,
И его нечем заменить.
Я знаю это чувство.
В день, когда началась война,
Я писала подружке, про лучшие роли Мягкова,
Обсуждала с ней взгляд Янковского в «Обыкновенном чуде»
И то, что ему тогда было всего 33.
Я хотела массаж, хотела бекон,
Хотела, чтобы мужа не забрали на войну,
Смотрела на своих кошек,
Думала, хорошо, что нет детей,
Их не убьют.
В день, когда началась война,
В конце той солнечной, снежной зимы,
Мне хотелось ехать на велосипеде
Через сосновый лес
Где-то в Тверской области,
Есть мороженое у сельского магазина,
Спрашивать у местных дорогу,
Слушать их истории,
И ничего не знать о войне.

Всё ещё верила в какое-то чудо,
Что что-то ждёт меня после.
Еду в автобусе м95 по мрачному городу,
Слушаю крики китов.
Если подумать... ты вовремя слинял.
Что было после?
Пандемия, самоизоляция, маски, страх.
Всё ещё верила в чудо.
Война — вот твоё чудо.
Она точно изменит твою жизнь,
Вытащит тебя из болота,
Уберёт из-под носа труп работы.
С Нагорного видно сегодня все главные здания города;
Останкинская башня, Шуховская башня
Высотка на Оружейном,
И ещё левее — Москва Сити.
Они так подробно видны из окна автобуса...
Слушай, а ведь, если подумать;
Ты взял и умер,
А тут началась война.
И мне в ней жить.
Как это странно. Я думала; почему твоя жизнь
Оборвалась так несправедливо рано?
Так нелепо, так просто?
А сейчас я думаю: э, да всё не так!
Не так просто, ещё сложнее или ещё проще...
Это вопли китов
Так откровенны в своём дурном предзнаменовании.
Заставляют думать о смерти.
Просто сегодня первый пасмурной день
За месяц,
Вот мне и грустно.
А неделю назад началась война,
И я ничего не чувствую.
Солнце не вышло — грустно,
А война... она где-то далеко,

Она слишком сложна, чтобы я могла горевать ещё и о ней.
Пожалуй, война позволяет мне думать,
Что ты спасся, сбежал отсюда,
Что это ты выиграл, а я проиграла.
И так мне легче.
Я чувствую себя героиней трагичного фильма,
Где смерть не самое худшее событие.
Самое худшее было потом —
Это отсутствие чуда.

В Москве была «Ночь в музее»
А мы приехали на пустую, ветхую базу отдыха.
Кроме нас только управляющий Эрик.
Его племянник из Питера с красными волосами,
/Он по ночам сторожит базу/,
И пожилая пара рыбаков.
И мы; будто заброшенные сюда из космоса на «Сапсане».
Замерли на своих кроватях с видом на большое озеро;
Не любим баню, не любим рыбалку,
Только лежим на кроватях и смотрим в окно.
Вот наступает ночь.
От тишины закладывает уши,
В такой тишине мне всегда слышаться оклики.
Побудь в абсолютной тишине и сойдёшь с ума,
Начнёшь слышать свои мысли.
Эрик говорит, что сахар по сто пятьдесят рублей,
А он сладёна, что война началась и

Потому остановилась стройка.

Впервые слышу от человека вслух слово "война".

Война началась, стройматериалы подорожали.

Ждут, когда упадут «котировки».

Я сидела на перине, что приготовил заботливый человек, и думала:

А что, если я тайный агент, что, если меня подослали?

Что, если я напишу донос?

У него хорошее место, бесплатное жильё, баня,

Рыбалка, озеро, ништяки от туристов.

Почему бы и нет?

Я смотрю на Эрика и стыжусь своих мыслей,

А он всё повторяет: война, война, война.

Что, если я сойду с ума?

Эрику за шестьдесят.

Здесь на базе, в лесу у него не скачет давление,

Потому он оставил работу в Питере,

И теперь «хоть дворником, лишь бы здесь».

Я сижу на балконе над озером два часа.

И не думаю ни о чём.

Женщина целый день ловит на пирсе рыбу.

Я дочитала сборник рассказов Манро

На рассказе «Испанка».

Вот моя ночь в музее 2022.

Здесь в лесу легко произносят слово война.

Здесь нет телевизора, и никто не знает,

Что нужно бояться называть вещи своими именами.

Эрик всё повторяет "Вы же приедете ещё?"

Не в последний же раз?"

Конечно, приедем.

Почему мне задают этот вопрос именно

В тот момент, когда я думаю,

Что никогда не вернусь?

В такси играет шансон.

Но я не надеваю наушники,

Не включаю свою любимую музыку.

Не могу слушать музыку

И слушаю шансон.

Что может сильнее выразить растерянность человека,

Чем от начала до конца прослушанная

Блатная песня в такси?

Я настолько не знаю, как быть,

Что просто слушаю шансон.

Кольщик наколи мне купола

Рядом чудотворный крест с иконами,

Чтоб играли там колокола

С переливами да с перезвонами...

За секунду до конца света

Я бегу в комнату мамы

Она тихо спит под лёгким летним одеялом

В сумерках вижу её бочок

Я кричу «Мама!»

Но в её комнате всё так же тихо

И лишь за моей спиной

Падает соседний дом

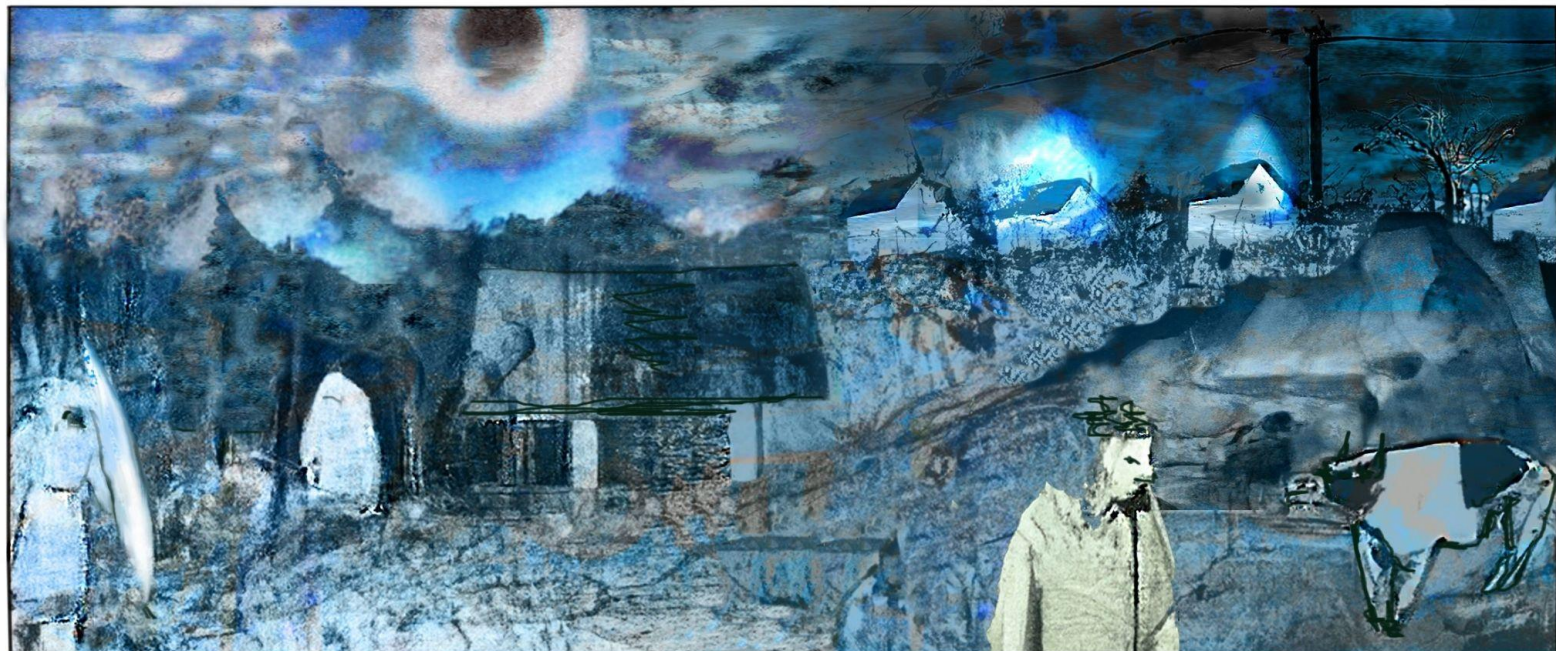
Звенят стёкла

Лишь за моей спиной

Рушится мир.

Митя Кокорин

Случилось так, что я покинул россию за 3 месяца до того, как она окончательно ебнулась. Я планировал вернуться через полгода, но больше не планирую ничего. Разве только то, что когда-нибудь мы все туда вернемся и отмоем все чисто-чисто. Рассказ отчасти навеян последним посещением Москвы в апреле 2022.



Перетерпим

Гена часто вставлял в разговор Светкино вымя: «Вымя на прок, на прок, мужики, на прок вымя, на прок, мужики, вымя на прок» — вот так. Он и теперь, хоть и один сидел у сарая, шептал «на прок, вымя на прок, мужики», и мял, брызгал в ведро, а Светка шлепала себя хвостом по бокам.

Перестало стрекотать в траве, поплыл этот гадкий сладенький запах, хрустнул забор, пришло Селище, разорвало Светку и ушло, смяв забор в другом месте. Светка лопнула как перезрелая слива — он за такой как-то полез, когда ловкий был, чтобы Лену угостить, Леночку. Забор тогда тоже хрустнул, и слива в пальцах лопнула, и тридцать лет прошло, через два дня снова осень, а вот сидишь ночью с опрокинутым ведром, коровьи внутренности по тебе стекают — хоть бы сожрало ее что ли, а то просто взяло и порвало, зачем? Жалко. Вот и сливу тогда никто не съел, конечно, и вообще все куда-то — куда оно все? Молоко из ведра в землю.

— На прок вымя, на прок, мужики, вымя на прок.

Поднялся и пошел в дом.

Катерина Сергеевна жила одна, любила порядок и все пыталась понять: что с нами не так, почему, чем окно не затыкай, все равно дует, а главное — как дальше? Как-то надо.

Вышла в сад, проверила под яблоней — все на месте: пирог капустный — один кусок, малина — горсть на тарелочке, луковица — две штуки, помидор надрезанный — один, водки — миска. Ни к чему не притронулся. Все не то ему. Мается с нами. Ночью слышала, как машины переворачивал — негромко, но близко, просто — ух! И стекла хрустели. Потом еще корова редела где-то на другом конце. Мается.

Может, не мирской пищей угощать? Что ему еда наша? Посерьезнее что-то надо. Украшения, может, мамины. Или книгу какую. Какую?

Катерина Сергеевна стряхнула муравьев с пирога, задумчиво съела и пошла дальше гуглить «чем задобрить злое».

Нина жаловалась: «Ладно портфель — с рюкзаком ходит, но тетрадки, обыкновенные тетрадки, неужели нельзя? Что мне, и за ними в Малые Селища? Пять километров. Тетрадки. Своего бы отправила, да только на хер его отправишь. Штатается по двору: "Слива, Светка, на прок, на прок". А раньше как танцевал».

— Раньше все танцевали.

Галина Тимофеевна раскладывала на прилавке консервы. Из-за стены со склада грохотало, рычало, чавкало не то горлом, не то животом.

— Да и чему его эта блядь научит? Как таких с детьми работать берут? А горбуши точно не осталось?

— Всем надо кушать.

Галина Тимофеевна ползла пальцем по сроку годности. За стеной рыгнуло, вздулась скатерть в дверном проеме, запахло этим сладко-гадким.

— Вот и когда все это уже..? — заскулила Нина.

— Все пройдет, все пройдет, — шептала Галина Тимофеевна в тушенку. — Оно вон гниет уже с правого бока, я видела. Все пройдет.

За стеной рухнули полки, из-под скатерти высыпались рваные упаковки, ошметки продуктов, потек соус.

— Давайте тогда тушенку сколько осталось.

Шадрунов был широким со свой стол, вопросы решал просто:

— Никак не отпускаю тебя, Ленка. У тебя послезавтра с утра девять человек в первом классе. Потом в пятом еще трое. Кто им Пушкина кроме тебя даст?

Лена смотрела в окно. Во дворе Селище качалось на качелях, потом уронило на них последнюю недоломанную березу и помочилось сверху. Лена вздохнула, подумала, что будет как в том фильме — если и выйдет она когда-нибудь из Больших Селищ, тут же войдет в них с другой стороны. И так всю жизнь. Лучше Пушкина давать и не пиздеть.

Артем, Сережа и Даня играли в полицейских и кого похуже. Даня был за полицейских. Артем с Сережей показали на муравейник: «Чтоб ни один у тебя не сбежал, понял? А то сам жопой к ним сядешь». Даня понял и стал охранять.

— А будут разбегаться, топчи, — добавил Сережа.

— А не затопчешь как надо, к тебе Селище придет, — напугал Артем.

Селище тут выросло из-под земли, схватило Сережу с Артемом и обратно ушло под землю, а Даню даже не заметило, он до сумерек муравьев охранял.

Стасик сказал: «У нас тут свои порядки».

В Большие Селища тогда приехала районная комиссия, люди с отчетливыми лицами ходили везде и везде отмечали, что не так. Потом сели в клубе чай пить из блюдечек, которые Селище перед этим со всех сторон облизало.

Сложили всю комиссию в яму у забора на кладбище, Стасик закопал. Потом выпил и лег пьяный в овраге. Селище к нему ночью пришло, а наутро Стасик стал хмурый, отдельно невзлюбил петухов, обниматься и феминитивы, и когда теперь бил Надю, говорил: «Получай, мудака ебанный».

Катерина Сергеевна сложила под яблоню разное ей дорогое: мамино платье, кольцо обручальное, ноутбук, фото с Виталяком двадцатилетней давности. Что-нибудь Селищу приглянется, оно тогда, может, и перестанет. Нужно отдавать только в самом деле дорогое. И совсем ничего не жалко уже. Вчера хорошо не было и сегодня не будет.

— Катю-ша-аа-ааа, — позвала Марина рывками, будто в ней дергали стартер и пытались завести.

Катерина Сергеевна подошла. Головой и руками Марина висела на заборе, а Селище пыталось проглотить ее ногу или просто оторвать.

— Катя-аа-аа, у тебя банок не оста-аа-аа-лось? Закатывать не во что-оо-о.

Может, это нас тоска гложет? — подумала Катерина Сергеевна, сходила на террасу за банками.

— Спасибо, Катю-уу-ш. Заходи на винишко-оо, посидим, до оттепели до-те-ее-рпим.

Селище бывало пропадет на неделю-другую. А то и на месяц о нем забывали. Наступала оттепель.

А может, оно нас так гложет, потому что любви в нас мало? — еще подумала Катерина Сергеевна.

Василий Петрович с Петром Васильевичем работали в лесу граблями и вилами соответственно. Один другому был сын, а другой первому отец.

— Мы тут каждый день рыхлим и кучим, — сказал сын. — А надо оно ему?

— Ты имя деда носишь и граблями его гребь, — наваливал жухлые листья отец.

— Мы если бы с ним вот так же не рыхлили и не кучили, оно бы может нас сожрало бы уже всех. А так терпимо.

Сын греб и думал, как ночью заведет мотоцикл, повезет Катьку в поле.

— Надо ему, не надо — не наше дело. Наше — вот.

Катька вцепится ему в живот и будет визжать на ямах.

— Оно по молодости, может, и неприятно, ты пережди. Говорят, с одного бока гниет уже. Может, оставит нас наконец. Я если не доживу, ты доживешь.

Волосы у нее запутаются в траве, станет хихикать.

— Вот сюда сгребь ему жижи погуще, оно холодок любит. К ночи вернется, спать завалится, утром мягким будет. Перетерпим.

Как-нибудь они с Катькой проедут поле насквозь — и нахуй, нахуй.

Даня боялся уснуть и просил оставить хоть малюсенькую щелочку, чтобы свет.

— На свет к тебе волчок из леса придет, — сказала мама. — И ухватит сам знаешь за что.

И закрыла.

Даня залез под одеяло с головой и повторял новые слова сегодняшнего дня: пентюх, мокрица, иноагент.

Волчок вышел на околицу, облизнулся на оставшийся в домах свет. Селище его здесь же прихлопнуло и потопталось сверху еще, чтоб клочки шерсти в воздухе повисли. Потом перегрызло поле, срыло холм под магазином, выпило полреки. Спать не пошло, пошло в Малые Селища — какое спать, когда война.

Катерина Сергеевна положила под яблоню себя, стала ждать неминуемого и думать, что с ней не так, что оно не приходит. Что с нами всеми не так? Что ему с нами, скучно что ли?

Стасик тоже ушел на войну. Вытаптывал грядки у Малых Селищ: «Получай, получай, мудака ебаный». Надя ждала в стороне, когда дурь выйдет. Не она получала — и хорошо.

Стасик некоторое подбирал и пихал в карманы, на остальном плясал: «Нехер наших коров рвать, машины переворачивать, получай, получаааа...» — подорвался на mine.

Лена с Пушкиным в рюкзаке вышла из Больших Селищ, шла не оборачиваясь. Первоклашек стало семеро вместо девяти, пятый класс вовсе не пришел. Что им школа, все равно перетрахаются за клубом и пойдут лес валить. Генка в школе тоже стихи ей писал — а женился на этой дуре.

В поле кто-то пытался завести мотоцикл. «Нахххй, нахххх, наххххууу» — завелся.

Где-то у Малых селищ бахнуло.

Лена шла и боялась, что не заметит, как вернется обратно — как в том фильме — но так и не вернулась, потому что не кино это.

В воскресенье пришли четверо с Малых Селищ, бросили перед магазином оторванную башку Селища и еще какие-то его ошметки. Завоняло.

— Забирайте ваше говно, — сказали. — Вы теперь свободны.

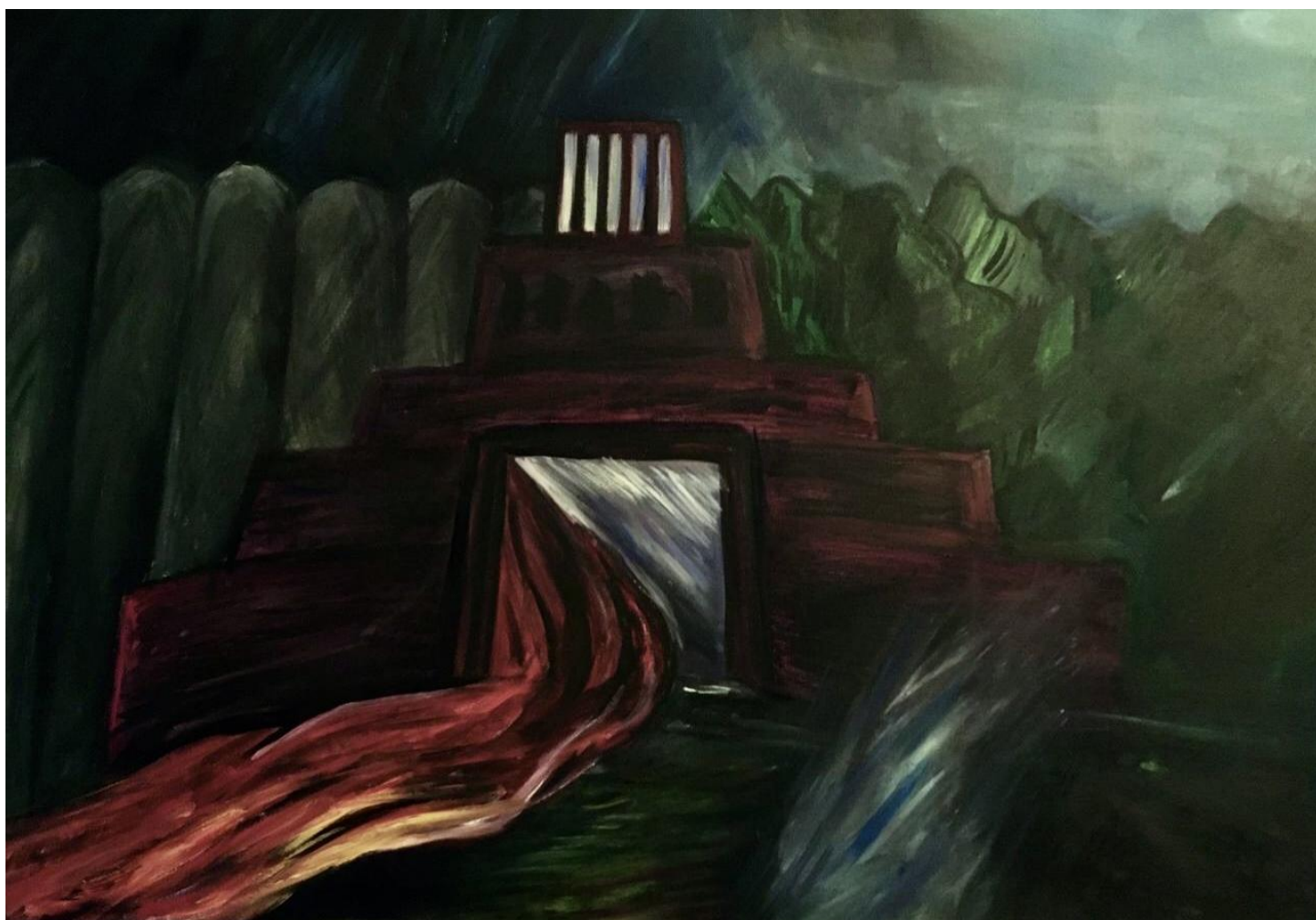
И ушли к себе.

— А горбушу не завезли? — спросила Нина.

- Как не было ничего, так и нет, — сказала Галина Тимофеевна.
- Вот и когда это все уже?.. — заскулила Нина.
- Все пройдет, все пройдет, — пропела Галина Тимофеевна.

Надя Плунгян

Геополитический разлом расширяется. Он окутан тенью прошлого, и где-то на дне, в глубине, сверкают проблески будущих решений. Как в зеркало, Россия смотрится в семнадцатый век, и с его скорлупы облетает золотистая фольга века двадцатого. Мир изменяет очертания внутри и снаружи. Я хочу наблюдать эти изменения в их скорости и покое внутри России, никуда не отступая и не слушая тех, кто требует уехать, потому что это и есть задача художника. В мавзолее загорается голубой газовый свет, и из его дверей течет лава революционной памяти. Лес качается в темноте, железобетонные башни закрывают и открывают небо, скованное на миг прозрачносерыми льдистыми одеялами семидесятых. Я пишу картины, чтобы не забыть о каждой точке, и они складываются в огневое созвездие, распределенное по стенам коммунальной квартиры. Что делает искусство? Впускает в жизнь новую форму, делая работу по распределению и пересозданию известного, неизвестного, предполагаемого. Интуитивно и аналитически искусство действует в параллель с историей, где-то далеко ее обгоняя. Никакие средства массовой информации, академии и политические движения не способны предложить такую степень работы с реальностью и ничто из них не волнует меня и не интересует. Пластиковые заслоны 2010-х распались, и пластиковые герои прошлого в ужасе бегут под крыши знакомой эклектики в мир, обреченный не иметь значения. Созвездие, которое я строю, расширяется и светит в будущее. Его материал — только чернозем, только старые доски, только мрамор тридцатых годов, только густые зимние облака, только желтые листки библиотеки, только многоэтажные микрорайонные цвета, только страх, только холод, только надежда.



Флаг

Холст, масло, 70x50 см, 03.03.2022

~~ВОЙНА~~